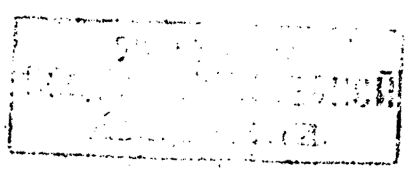
Проф. И. И. Лапшин

ФИЛОСОФИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ И ИЗОБРЕТЕНИЕ В ФИЛОСОФИИ

(Введение в историю философии)

т. I



«Наука и Школа»
1922

Пров. 1959

Настоящее издание отпечатано в количестве трех тысяч экземпляров в 5-й Государственной типографии.

Р. В. Ц.

Памяти матери моей

Евсинны Денисовны

Богдановой.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

В современной философской литературе имеются многочисленные общие введения в философию (Вундт, Кюльпе, Паульсен, Виндельбанд, Джэмс, Лосский, Челпанов etc.), а также введения в ее специальные отделы, например: „Введение в *психологию*“ Пфендера, „Введение в *теорию познания*“ Мессера, „Введение в *эстетику*“ Гросса, но ни у нас, ни на Западе *нет*, насколько мне известно, *ни одного введения в историю философии*. Настоящая книга представляет попытку заполнить этот существенный пробел. Она прежде всего предназначается быть *руководством для студентов*, уже знакомых с логикой, психологией и общим введением в философию.

Я полагаю, что философский и психологический анализ процесса изобретения в положительных науках, технике и философии является наиболее подходящим введением в историю философии. Предлагаемое вниманию читателей исследование отличается от существующих трудов, в которых анализируется механизм творчества (работы Рибо, Сурио, Полана, Оствальда, П., Дюбуа-Реймона, Гоппе, Пасхала, Сеайлля, Энгельмейера и других), во-первых, тем, что в нем исследуется природа изобретения не только с *описательной* психологической точки зрения, но и с *оценочной*—обще-философской. Работа моя написана в духе того *критического* мировоззрения, которое разрабатывается мною уже более четверти века в сочинениях, перечисленных в конце этой книги; во-вторых, в нем исследуется творческая деятельность человека исключительно в научной области, причем *особенное внимание уделено изобретению в философии*, которому еще не было посвящено ни одного специального исследования.

Предназначая мою книгу для тех, кому особенно дороги успехи научной, технической и философской мысли в России, я старался, по возможности, использовать материал, который мог почерпнуть из биографий *русских* ученых и философов, а также из их устных и письменных показаний. Приношу сердечную благодарность всем,

кто дал мне сведения о тех сторонах процесса изобретения, которые меня особенно интересовали.

В основу всего исследования положено три мысли:

1) что философия есть особая наука, не совпадающая по своему содержанию ни с одною из положительных наук;

2) что она и ее прогресс теснейшим образом связаны с эволюцией специальных областей научнаго знания;

3) что изучение научного, технического и философского творчества может оказывать *косвенным образом* полезное влияние на самый процесс изобретения.

Отвергая все виды догматической метафизики, автор рассматривает их, как рабочие гипотезы, имеющие в руках наиболее даровитых мыслителей извѣстную *эвристическую* ценность, определенный *коэффициент полезного действия.*

1 октября 1921 г.

П. Лаппин.

Глава I.

Введение.

I.

Что такое философское изобретение? Какова его природа с общефилософской и с психологической точек зрения? Каков генетический процесс его образования? Вот ряд трудных вопросов, которые я имею в виду осветить в последующем изложении. Не может быть сомнения в том, что на эти вопросы нельзя дать полный ответ в настоящее время, но я думаю, наступил момент, когда их следует отчетливо формулировать и попытаться связать с общими проблемами философии и психологии изобретения. То, что здесь можно сейчас сделать, да послужит хотя бы лишь программою для дальнейших, более углубленных и фактически документированных исследований. Во избежание неясностей я прежде всего должен указать на то, что отграничиваю философское творчество от *религиозного*. Философия есть своеобразная *научная* область духовной деятельности, она есть сфера *познавательного*, а не *эмоционального мышления* *). Мысль Конта о прохождении философии чрез *теологический фазис*—ложная мысль. Если теологический элемент—влияние религиозных потребностей, есть фактор, играющий известную роль в истории философии, то это—инородный фактор, *чуждый задачам наукообразного знания*, и притом характерный не для известного „фазиса“ в истории философии, но неизменно действующий на всем ее протяжении. Гениальные научно-философские догадки Анаксимандра и пифагорейцев могут быть смело противопоставлены *фетишизму и анимизму* самого „отца позитивизма“ Конта или „отца экспериментальной психологии“ Фехнера, которые оба одушевляли земной шар, как разумное и

*) О различии познавательного и эмоционального мышления см. мою работу „Психология эмоционального мышления Генриха Майера“ „Новые идеи в философии“, вып. 15-й.

живое существо. Поэтому взгляд С. Н. Трубецкого на историю древней философии, как на раскрытие религиозного миросозерцания, в корне ошибочен, и совершенно правы Эрвин Роде и Маковельский *), трактующие древнюю философию и религию греков, как две „независимыя переменныя".

Богословский и философский элементы в процессе философского изобретения отделены нередко *тонкою, едва уловимою чертою,* что дает повод при историко-философском анализе к смешению двух различных „планов" творчества. Так, например, Вл. Соловьев в „Кризисе в западной философии" ставит себе богословскую задачу— „оправдать веру отцов наших", и в его сочинениях мы находим попытки философа „оправдать" догматы христианства. Однако надо обладать большою ограниченностью мысли, чтобы не признать в Соловьеве *крупный философский талант*: в его сочинениях, несмотря на то, что *общий замысел в них чужд по духу философии*, разсыпано множество глубоких и оригинальных научно-философских идей. Мы причисляем Платона и Декарта к величайшим изобретателям в области философии, но богословы утверждают, что оба они *не философы,* а *богословы по существу*. Отто Вильман в своей „Geschichte des Idealismus" утверждает, что у Платона богословские идеи составляют „das Kernwerk des ganzen Systems", и обставляет это положение рядом остроумнейших „доказательств". Глубокая связь философской мысли Декарта с богословскими проблемами его времени дала повод одному богослову (Espinas: „Le point de départ de Descartes", Revue Bleue, 1906) отстаивать мысль, что primum movens всего творчества Декарта была богословская проблема, и Gilson'y в его замечательной книга: „La liberté chez Desçartes et la théologie" (1913) нужно было проникнуть во все тайники духовной лаборатории Декарта и исследовать все его точки соприкосновения с современной ему богословской мыслью, чтобы показать, какое именно положение занимала философская мысль Декарта в отношении к его богословским интересам, и Жильсон убедительно показывает, что Декарт— великий философский изобретатель, что для него, как это видно из письма к Мерсенну от 28 января 1641 г., *центр тяжести* всех его интересов лежит в метафизике и физике, и что он стремился добиться *их признания со стороны богословов* путем согласования своих философских построений с церковной догматикой. Но не то же ли мы наблюдаем в XIX веке, когда Конт пытается связать судьбы позитивизма с иезуитским орденом, а Ренувье—судьбы не-

*) См. „Досократики" проф. Маковельского, т. I, Введение.

окритицизма с либеральным протестантизмом? Все это нисколько не препятствует *отчетливому различению* богословской изобретательности от философского изобретения.

Повторяю: философское изобретение есть вид *научного творчества*, и его надо отчетливо различать, во-первых, от *религиозного творчества*, и, во-вторых, от *богословской* изобретательности.

Религиозное творчество глубоко эмоциональной природы. Основатели религий не научные исследователи, не критики, не систематизаторы, а *творцы новых скрижалей ценностей*. Они являются наиболее яркими выразителями морально-религиозных потребностей народных масс своего времени, они призваны не философствовать, а „глаголом жечь сердца людей". Вот почему история философии включает имена Сократа, Платона, Канта, но в ней нет места для Моисея, Магомета или Іисуса. Когда один критик Канта упрекнул его в том, что его моральное изобретение не заключает в себе *ничего нового*, являясь лишь *новою формулой* христианской морали, то Кант справедливо указал ему, что *точная формулировка* известного явления и составляет именно научную заслугу философа, сами же моральные явления не суть порождения философской мысли.

Богословская изобретательность заключается в искусстве упорядочения и систематизации в форме известной *догматики* религиозного вероучения, которому положил начало основатель известной религии. В богословской мысли есть своя внутренняя логика и свое диалектическое развитие, но для разработки религиозного учения самою его природою положены известные грани—*чудо, тайна и авторитет*. Всякий раз, когда богословское мышление близко подходит к этим граням, оно неизбежно умышленно или чаще неумышленно подменивает *логику разума логикой чувств*. Так как сама догматика с течением веков эволюционирует, рационализируется и постепенно утрачивает монументальную пластичность своих первоначальных очертаний, то глубокое отличие методов богословской экзегезы от философского мышления для поверхностного взгляда утрачивается, между тем как эта разница остается по существу *тою же самою*, на всем протяжении философии. Она оценивается результатами изобретений богословских и философских. Эффективность первых определяется их *жизненным влиянием на массы*, а эффективность вторых—их *об'ективно научною значимостью*. Однако, это глубокое различие самой природы изобретательности в обоих случаях нисколько не исключает того факта, что богословские и философские тенденции часто *сосуществуют* в процессе изобретения: у великих богословов можно найти замечательные отдельные

философские мысли, у великих философов вплоть до наших дней явны богословские тенденции духа.

II.

Равным *образом, тот факт, что среди философов были натуры, художественно одаренные,* и что многие философские произведения ценны, как создания искусства, нисколько не дает нам права говорить о философии вообще, как только искусстве. «Пир» Платона, некоторые произведения Шопенгауэра, Ницше, Соловьева и т. д., конечно, входят не только в историю философии, как об'екты исследования, но и в историю искусства. Так, Левек пишет исследование „Qnid Phidiae Plato debuerit" (1852), а Гирцель оценивает литературную форму диалога у Платона („Der Dialog, ein litterarhistorischer Versuch"), но это нисколько не мешает нам отделять в философском произведении эстетическую оболочку от имеющаго *научную значимость* ядра. Ниже мы увидим, какую *своеобразную роль играют поэтические сказания и мифы* в духовной лаборатории философа (см. главу V-ю).

Смешение научно-философского изобретения с художественным творчеством возможно в двух отношениях—с точки зрения изучения процесса *созидания* философских систем и с точки зрения изучения процесса *постижения* их духа историком философии. Сами философы—Платон, Шеллинг, Шопенгауэр, Ницше, как я указывал („Законы мышления и формы познания", 1906, стр. 207), дают повод к смешению первого рода, сближая свой творческий процесс с формированием художественной концепции. Поскольку речь идет о тех сторонах их творчества, которые вовсе не относятся к области научно-философской, они, конечно, правы, но все то, что ценно в их системах для научного познания, может заключать в себе элементы, *аналогичные* элементам художественного произведения, но не *тожественные* с ними. При анализе *интеллектуальных чувствований* и их роли в процессе *научного* изобретения это будет подробно выяснено ниже (см. т. II, гл. II-ю). Равным образом; и отожествление процесса постижения духа философской системы историком философии с процессом *художественной перевоплощаемости* при эстетическом восприятии драмы или романа основано на спутанности мысли, которая выяснится нам при анализе „фантасмов" научного воображения, столь похожих на первый взгляд на продукты эстетического творчества (см. главу V-ю). Подобную *спутанность мысли* можно найти в книге проф. И. А. Ильина: „Философия Гегеля, как учение о конкретности Бога и человека" (1918), книги цен-

ной в других отношениях. „Историку философии,—пишет И. А. Ильин,—задано осуществить *тайну художественного перевоплощения: принять чужое предмето-созерцание* и усвоить его силу и его ограниченность". Подобное „принятие чужого предмето-созерцания" есть, действительно, род *перевоплощаемости*, на которую указывал и Кант (см. мою статью „О психологическом изучении метафизических иллюзий", „Жизнь", 1901), и Гегель, но эта перевоплощаемость иного порядка, чем перевоплощаемость художественная, хотя между ними и имеются общие черты.

Наконец, нельзя рассматривать историю философии, просто как установку известных научных обобщений, как это делает, например, Таннери, для которого история философии без остатка *растворяется* в истории положительных наук. Спенсерово определение философии, как *знания наивысшей общности*, грешит чрезмерной широтой. Признавая его, пришлось бы отнести таблицу умножения и „Пиѳагоровы штаны" к области истории философии. У философии есть свои специфические функции, как у своеобразной области научного знания, которые и должны быть раскрыты путем анализа природы философского изобретения (об этом см. т. II-й, V-ю главу).

III.

После этих предварительных замечаний обратимся к вопросу о взаимозависимости наследственности и воспитания в процессе образования философского дарования. Здесь мы наталкиваемся на два односторонних взгляда, между которыми легко вскрыть глубокое противоречие, это—антиномия коллективизма и индивидуализма.

Гениальное изобретение, говорят одни, всегда есть продукт благоприятного стечения социальных условий. Гений, по словам Гельвеция, *шедевр случая*, причем „случай" здесь надо понимать именно в смысле благоприятного стечения внешних обстоятельств—политических, экономических, педагогических условий развития. К Гельвецию примыкает Бурдо, по словам которого автор шедевра в искусстве „tout le monde". Для трилогии „Генрих VI", состоящей из 6043 стихов, Шекспир взял 1771 стих из одной старинной трагедии и еще переделал из другой 2373 стиха. В науке небольшие открытия—правило, значительные—исключение: Ньютон необходимо подготовлен Кеплером, Гуком, Галилеем и другими. История изобретения паровой машины есть аккумуляция множества чуть заметных усовершенствований. См.: „L'histoire et les historiens". По мнению Одэна, *нет удовле-*

творительных данных, свидетельствующих в пользу наследственности дарования, наоборот благоприятные социальные условия имеют решающее значение (см. Odin: „Genèse des grands hommes“) „Talente und so genannte besondere Anlage hat der Mensch nicht“ — возглашает еще категоричнее Гауффе. Таков коллективистический взгляд на генезис изобретения. Биологическое неравенство одаренности здесь почти приравнивается нулю.

С другой стороны, в не менее категорической и радикальной форме отстаивает свою позицию индивидуализм. Если верить Шопенгауэру, Тарду, Ницше, Карлейлю, то изобретатель—это какой-то Монблан, возвышающийся над людскою массою: „Я живу *в своем собственном доме* и никому никогда не подражал“ (Ницше).

Нужно ли доказывать, что самая постановка вопроса в такой резко антитетической форме лишена всякого философского смысла и противоречит грубейшим образом фактам? Со стороны фактической совершенно невозможно отрицать начисто *самое существование наследственности* и зависимости от нее неравенства в одаренности различных индивидуумов. Да и самые сторонники коллективистического взгляда в большинстве случаев не заходят так далеко, чтобы *совершенно* отвергать это неравенство. Так, например, Гельвеций признает унаследованными различия темпераментов, Бурдо—комбинационный дар, ведь он говорит о том, что даровитый человек должен „*неподражаемо подражать*“, т. е. обладать склонностью вносить в подражание новые своеобразные черты. Гельвеций также видит преимущество гениального человека в природной способности своеобразно управлять своим вниманием и т. д. Равным образом, и индивидуалисты не отвергают всецело воспитательного или образовательного влияние среды. Так, напр., Шопенгауэр, почти совершенно отрицая моральное влияние среды на характер, признает значительную роль образования. Джэмс, в статье: „Великие люди и окружающая среда“, признает значительное влияние среды на развитие, но оригинальность индивидуума относит за счет „*случайных изменений*“ в процессе наследственности. Таким образом, при более внимательном рассмотрении дела оказывается, что вопрос в самом корне ложно поставлен. Индивидуалисты преувеличенно подчеркивают *прерывный* момент в творчестве, — для них всякое изобретение совершается, подобно мутации, per saltum, коллективисты утрируют идею *непрерывной* аккумуляции чуть заметных изменений.

Но если мы признаем бесспорным значительное участие в развитии одаренности и того, и другого фактора, то всеже окажется чрезвычайно трудным расчленить их совокупное действие в развитии

изобретательности, так как результат их—психический склад индивидуума—дает уже нам *целостное единство*, новый синтез качеств, которые лишь отчасти напоминают черты родителей и предков или образцы для подражания из окружающей среды. К этому нужно прибавить, что этот сложный вопрос и эмпирически мало разработан. Что же *касается* вопроса о наследственности или зависимости от *социальной* среды философского дарования, то об этом ровно *ничего* нет. Мало того, даже те довольно многочисленные данные, которые рассеяны в биографиях философов, не собраны *воедино*. Так, Гальтон упоминает в своем *исследовании* только Аристотеля, Лейбница и Бэкона; Рейбмайр дает *немногим* больше (Гальтон: „Наследственность таланта", Reybmayr: Entwickelungsgeschichte des Genies 1904).

IV.

Тем не менее, и на основании скудного имеющегося у нас *материала*, можно высказать несколько не лишенных вероятия *догадок*. Установка новых научных данных может совершаться или путем методического *непрерывного* ряда выводов или накопления фактов, или путем внезапных неожиданных сопоставлений и догадок. В последнем случае мы имеем проявление способности к открытиям и изобретениям. „Открытия, говорит Лаплас, заключаются в сближении идей, которые соединимы по своей природе, но доселе были изолированы одна от другой". Таким образом, комбинационный дар, *богатство*, *подвижность* и *гармоническая организованность* многообразных диспаратных рядов мыслей и образов лежит в основе изобретательности. Этими свойствами определяется, так сказать, *комбинационное поле* в творческой работе изобретателя. Известное *крупное* дарование Σ представляет сочетание *частичных* дарований данного порядка $S' + S'' + S'''$ etc., разбросанных среди различных его предков. Так, один из предков Бетховена мог обладать замечательно тонким слухом, другой—исключительной музыкальной памятью, третий—необыкновенным комбинационным даром и т. д. (см. „Наследственность", проф. Ю. А. Филипченко, 1917, стр. 262-я).

Весьма вероятно, что *удачное смешение* различных рас, народов, племен и сословий дает больший простор для деятельности воображения, расширяет это поле. Рейбмайр указывает, что среди даровитых людей нередко встречаются люди *смешанного* происхождения, что, разумеется, не исключает ни того, что смешение разнородных натур может быть неудачным в смысле одаренности потомка, ни того,

что среди родителей, принадлежащих к однородной в рассовом, национальном, племенном и сословном отношениях среде могут быть противоположные психические индивидуальности, гармонично дополняющие друг друга в одаренном потомстве и дающие благоприятный для творчества синтез. Вот ряд иллюстраций из истории философии:

Θалес—греко-финикийского происхождения.

Антисθен—аттико-фракийского.

Θома Аквинский—ломбардо-итальянского.

Парацельс—по отцу из знати Вюртемберга, по матери бюргер из Эйнзиделя (Швейцария).

Лейбниц—славяно-германского происхождения.

Руссо—французско-швейцарского.

Шопенгауэр—голландско-немецкого.

Монтень—еврейско-французского.

Гаманн—отец из Лаузица, мать из Любека.

Монтескье—отец француз (гасконец), мать англичанка.

Ницше—польско-саксонского.

Дюринг—шведско-немецкого.

Фихте—шведско-немецкого.

Спир—немецко-русско-греческого (?).

Кант—шотландско-немецкого (?).

Гегель—отец из Каринтии, мать из Вюртемберга.

Фриз—шотландско-немецкого.

Козлов—отец помещик, мать крестьянка.

Вл. Соловьев—малороссийско-великорусского, духовно-аристократического.

Ал. Введенский—русско-французского (бабка француженка).

Лосский—русско-польского.

Челпанов—русско-крымготского.

Не менее благоприятны бывают комбинации воображения у лиц, принадлежащих *одной расе* или *одному народу*, но попавших в *другую среду*, которая контрастно гармонически дополняет односторонность их психического склада.

Личность Серена Киркегоора, датского философа и поэта, может служить примером творчески продуктивного сочетания контрастных черт характера, унаследованных от родителей одной и той же национальности и однородной социальной среды. „Я двуликий Янус“ (Ianus bifrons),—писал о себе 24-летний философ, и его биограф Геффдинг, подробно анализируя эту двойственность личности, ставит ее в связь с усталым мрачным душевным складом отца Киркегоора

и светлой жизнерадостной натурой его матери (см. H. Höffding, „S. Kierkegaard", 1896, S. 35). Некоторая дисгармония этих контрастных черт души и была, впрочем, причиной того, что Киркегоор, при всем богатстве глубоких философских идей и ярких художественных образов в своих творениях, не мог дать законченной философской системы, но лишь своеобразное сочетание скептицизма и иррационализма с мистикой и философией веры. В своем дневнике 26-летний юноша пишет (1839 г. 25 июля): „Я нахожу так мало радости в моем существовании потому, что всякая мысль, зарождающаяся в моей душе, тотчас же принимает такие сверхестественные размеры, что я оказываюсь решительно подавленным ею, и идеальное предвосхищение проблемы (Anticipation) дает мне так мало разъяснений касательно существования, что я, наоборот, оказываюсь совершенно бессильным подыскать соответствующее моей идее, слишком взволнованным и, так сказать, нервозным, чтобы прийти к успокоительному решению вопроса" (H. Höffding, „S. Kierkegaard", 1896, S. 44).

Перевоплощаемость, уменье стать на чужую точку зрения, тенденция быть третейским судьей при диалектическом заострении противоположных мнений—вот черты, характерные нередко для натур, у которых в груди живут „две души". Иногда, при известной неуравновешенности двух противоположных тенденций, даже у мощно одаренных натур создается мучительная скептическая раздвоенность. Это мы видим, например, у Ренана: „В семье моей матери были элементы крови басков и борделезцев. Этот гасконец, помимо моего ведома, устраивал штуки бретонцу, делал ему обезьяньи рожи"... („Souvenirs d'enfance", p. 141)... „Эта сложность происхождения в значительной мере, думается мне, была причиною моих кажущихся противоречий. Иногда одна половинка моего „я" смеется, а другая плачет... (ib. 145)... Мне суждено было быть тем, что я есмь—романтик, протестующий против романтизма, утопист, проповедующий в политике terre à terre, идеалист, тщетно причиняющий себе не мало зла, дабы казаться буржуа,—ткань противоречий, напоминающая hyrcocerf'a *) схоластики, совмещавшего в себе две природы" (ib. 73).

В „Ecce homo" Ницше пишет о себе: „Я—мой собственный двойник, я обладаю в равной мере и „вторым", и первым зрением, а, может быть, еще и третьим. Уже мое происхождение дает мне право направлять мои взоры далеко за пределы местных, чисто национальных перспектив; мне ничего не стоит быть „хорошим европейцем".

*) Козлооленя.

С другой стороны, я, быть может, в большей степени немец, по сравнении с современными немцами, каковы имперские немцы; я последний антиполитический немец. А между тем мои предки были польские аристократы. Я унаследовал от них значительную дозу инстинкта расы, кто знает, быть может, даже liberum veto. Как я подумаю, сколько раз случалось во время путешествия, что ко мне обращались по-польски даже поляки, что редко меня принимали за немца,—то и может показаться, что я лишь слегка тронут германизмом. А между тем в моей матери Франциске Гюблер есть что-то изрядно немецкое так же, как и в моей бабушке с отцовской стороны Краузе". Если *аристократическое* происхождение Ницше есть самообман, то его славянское происхождение вне сомнения. Мебиус в своей книге о Ницше указывает на то, что это славянское имя чрезвычайно распространено в Лейпциге: в Лейпцигской адресной книге за 1902 г. имеется свыше *ста семидесяти* подобных фамилий.

Кант отмечает *интеллектуальную перевоплощаемость* в качестве одной из основных черт философского гения, и у него наследственная двуликость психического склада проявляется уже в первом юношеском произведении, где он выступает третейским судьей в вопросе „об измерении живых сил". Шопенгауэр отмечает в себе подобную же двуликость, относя некоторые черты своего умственного склада, подобно Гете, за счет материнского влияния, а особенности нравственного характера—за счет отца. Можно, однако, привести не мало инстанций, повидимому, противоречащих сказанному. В ближайших предках (насколько они нам известны) Платона, Аристотеля, мы не наблюдаем указанного смешения разнородных расовых или сословных элементов и в то же время их *полиперсонализм*, их способность становиться на всевозможные точки зрения и сочетать в новые синтезы самые резкие противоположности проявляется самым глубоким образом. Но, как замечено выше, гармонически дополняющие друг друга комбинации возможны и в однородной среде.

V.

В вопросе о наследственности философского дарования и природном психофизическом складе философов необходимо свести счеты с модной и теперь теорией сближения и даже отожествления гения и невроза. В применении к философам эта мысль была впервые развита не Ломброзо и даже не Moreau de Tour (1859), но Лелю в двух работах: „Démon de Socrate" (1840) и „L'amulette de Pascal", затем ее мы встречаем у Ломброзо, который применял ее, между прочим,

к О. Конту, и у Мебиуса, распространяющего ее на Руссо, Шопенгауэра и Ницше. Лелю усматривает в Сократе душевно-больного с детства, так как Сократ страдал галлюцинациями с детства, в чем Лелю и усматривает „caractére formel et indubitable de folie". „Демон" Сократа и есть обозначение об'ектов его галлюцинаций. Лелю сближает с этим демоном галлюцинации двух других философов-ученых Карданаи Бодэна. Кардан в своей автобиографии. „De vita propria liber" в XVIII главе указывает на наличность у себя и Сократа „доброго духа"—*spiritus bonus*. Появление этого духа, ставшее особенно частым на 64 году жизни Кардана, сопровождалось следующими симптомами: сильное сердцебиение, головокружение, мелькание образов: „In immersum daemonum apud antiquos multiplices fuere differentiae—*prohibentes*, ut Sokratis, *admonentes*, ut Ciceronis in obitu, *docentes*, quid futurum sit per somnum, per casus, per belluos, hortando nos, ut ad locum eamus et fallendo per sensum unum aut plures simul (совокупные галлюцинации нескольких органов чувств) et nobilior item per res natnrales (иллюзии) et demum per non naturales (галлюцинации) et hunc censemus nobilissimum". Хотя Кардан и говорит, что демон помогал ему и в научном творчестве, и в житейских обстоятельствах, но сообщает нам он от него лишь бесмысленные фразы. О подобном же ésprit frappeur рассказывает и Бодэн в своей „Демономании" (1580). Вот стихи Бодэна:

Eneigne moi, comme il faut faire
Pour bien ta volonté parfaire,
Car tu es mon vrai Dieu entier,
Fais que ton ésprit débonnaire
Me guide et mesne au droict sentier.

Приведенные галлюцинации Кардана и Бодэна, даже если и свидетельствуют о душевном расстройстве, не имеют никакого отношения к философскому творчеству обоих ученых и не стоят ровно ни в какой связи с „демоном" Сократа. Лелю крайне поверхностно исследовал природу этого демона в творчестве Сократа. Поэтому я считаю нелишним подробно остановиться на этом понятии. Прежде всего разберем, следуя за Вл. С. Соловьевым, значение термина „δαίμων" у древних. Соловьев указывает (Брокгауз, слово: *демон*), что это слово производится: 1) Платоном (в „Критоне" (от δαῆναι — знать — знающий, 2) Боппом (также Курциусом) от корня διφ = δαι + μων (шап), т. е. блестящий — бог. 3) Поттом от δαομαι — раздающий (дары). Уже у Гомера боги и демоны разделены: только раз Зевс называется демоном — в других же местах этот термин применяется для обозначения какого-то неопределенного таинственного

воздействия или *наития неведомого мира*, мудрое наитие свыше (Od III, 26), иногда этот термин применяется in malam partem — дурное пагубное внушение, иногда для характеристики истинной внутренней природы человека (Гераклит—ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων). Так понимали термин „демон" древние. Какую роль играло это воображаемое существо в творчестве Сократа? Вольтер видел в нем простое *литературное украшение*. Богослов Пиа (Piat) — ссылку на подлинный *„глас Божий"*, к которому апеллировал Сократ, когда дело касалось чего-нибудь превышающего естественные силы человеческого рассудка,—толкования, конечно, одинаково ложные. Наиболее правильны замечания Гегеля и Фуйлье, одинаково указывающие на легкомысленность суждений Лелю. Гегель пишет: „Демон не есть божество или ангел, не совесть, а принадлежащий ему оракул. Так как у Сократа суб'ективные решения впервые начали освобождаться от действия внешнего оракула, то это возвращение в себя здесь на первых порах необходимо должно было еще проявляться в физиологической форме. В самом деле, *центральный пункт* всего исторического переворота, произведенного принципом Сократа, состоит в том, что оракул заменился свидетельством индивидуального духа, что суб'ект берет на себя свои решения" („(Куно Фишер: „Гегель", т II, стр. 314—315 л.). Подробный и обстоятельный анализ сократовского „даймониона" дает Фуйллье. („La philosophie de Socrate", ч. II, p. 266 — 316). В Сократе мы видим редкостное сочетание *иронии* и *энтузиазма*. Способность самозабвения у него связывается с необыкновенной выносливостью в голоде, ходьбе, питье. Он ходит босиком, обнаруживает замечательную неутомляемость, способен к необычайному самоуглублению (которое в „Пире" описано Платоном, быть может, в несколько преувеличенном виде). В „Федре" указаны виды „безумия" в высшем смысле слова, проявляющегося в поэзии, любви и философии. В „Пире" демоны упоминаются, как посредники между богами и людьми. В „Меноне" дивинация указывается, как источник „мнения". Фуйллье сближает эту мысль с идеей о роли в познании подсознательных petites perceptions Лейбница, которые потенциально являются источником всеведения, того, quae sint, quae fuerint, quae mox ventura trahantur. В „Апологии" Сократ говорит, что το δαιμόνιον ἑαυτῷ σημαίνειν, это было поводом к обвинению его в введении *новых* божеств, *καινὰ δαιμόνια εἰσφέρειν*. Божественный сигнал был *звуком*. Что же, это, *метафора*, *внутреннее слово* или слуховая галлюцинация? Φωνή τοῦ δαιμονίου, θεοῦ φωνὴ φαίνεται σημαίνουσα ὅτι χρὴ ποεῖν (Apol.). Предчувствия Сократа играют чисто отрицательную роль *задержки*, а не *императива*.

ἀποτροπή — *чего не надо делать.* В „Критоне“ подчеркивается громкость, и это словесное преувеличение дает повод Лелю предположить здесь слуховую галлюцинацию. Нельзя литературный прием истолковывать клинически. Надо вспомнить о Горации и Пушкине, чтобы оценить подобные выражения:

Est mihi purgatam crebro qui personet aurem:
Solve senescentem mature sanus equum, ne
Peccet ad extremum ridendus et illa ducat.

или:

Лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.

В некоторых диалогах литературный прием в виде ссылки на откровение, является несомненным. Можно отметить место в „Филебе“, где речь идет не о предвидении, но *о воспоминании слышанного когда-то во сне или на яву.* В „Теагесе“ Сократ рассказывает о *телепатических* явлениях предчувствия смерти Хармида, предчувствия неудачи Сицилийской экспедиции и смерти Тимарха. Фуйлье характеризует это явление, как самопроизвольную интуицию, связанную с воспоминанием или с догадкою относительно будущего, т. е. предвидением, поддерживаемую энтузиазмом интуицию, получившую (в силу своей кажущейся независимости от сознания Сократа) роль Провидения, проявляющагося в своего рода внутренней речи. Весьма вероятно, что Сократ верил в своего демона, как Вл. Соловьев верил в телепатию, но этот демон, как верно подмечает Гегель, является для него не внешним *феноменом*, но вдохновляющей силой, переместившейся извне в его сознание. Все это от простой патологической галлюцинации отстоит безмерно далеко и не дает никакого повода к отожествлению философского творчества с безумием. Самая вера Сократа в демона наверное не была так элементарна, как вера его предков во внешний оракул,—ведь Сократ как раз есть поворотный пункт от слепой религиозной веры к свободной автономии человеческого разума.

Ломброзо не только отожествляет гениальность с вырождением, он даже характеризует гениальность, как *род эпилепсии.* Идеи Ломброзо неоднократно подвергались основательной и суровой критике психиатров. Его книга „Genio e follia“ и теперь сохраняет интерес, как возбуждающий мысль *парадокс,* но ее полная несостоятельность по существу уже раскрыта в достаточной степени. Неясность и крайняя расплывчатость понятия гения и вырождения и совершенно мни-

мая фактическая обоснованность при неточной передаче и произвольном истолковании множества фактов дали повод Этьену Рабо (Rabaud) определить способ работы Ломброзо, как метод *„поверхностной точности при неточности по существу“* („Le génie et les théories de M. Lombroso“, p. 40). Гирш в книге „Гений и вырождение“ убедительно доказывает, что отдельные поступки гениев и сумасшедших иногда имеют *внешнее сходство*, но не *внутреннее сродство*—безумие не определяется поступками, как бы они странны ни казались нам, пока мы не выяснили мотивов поступков. Можно иллюстрировать, как это делает Рабо, на анализе личности Огюста Конта, как Ломброзо обращается с фактами из истории философии. Ломброзо разделывается с Контом на протяжении *десяти* строчек, заключающих в себе не менее *пяти* ошибок. Конт был душевно-больным не 10 лет, а 8 месяцев. Ломброзо приписывает Конту наклонность к пророчествам, которых Конт никогда не делал. Речь идет об одном месте из „Системы позитивной политики“, где Конт развивает мысль, что жизнь женщины была бы более альтруистична, еслибы деторождение совершалось без участия мужчины. Сколь ни странно такое пожелание, оно у Конта высказывается, лишь как фантастическая утопия, а не в виде смешного пророчества. Что Конт, как гениальный мыслитель, не был душевно-больным, это в достаточной мере выяснено в обстоятельной монографии Дюма („Les deux Messies positivistes“). Мобиус в трех монографиях о Руссо, Шопенгауэре и Ницше указывает справедливо на многие патологические черты у этих философов, но ему нигде не удается доказать, что primum movens их философского творчества лежит в области патологии. Наоборот, он убедительно доказывает, что черты психического расстройства влияли самым пагубным образом на процесс продуктивного философского изобретения. Так, например, невропатическая наследственность у Ницше со стороны отца (eine schlimme Erbschaft von Seiten meines Vaters) разразилась душевной болезнью, и Мебиусу удается показать ее пагубные следы в произведениях Ницше лишь с середины 80-х годов. Да и те многочисленные примеры бессмыслицы и бесвкусия у Ницше, которые он приводит, слишком часто встречаются и у здоровых философов, ибо „nihil tam absurde dici potest quod non dicatur ab aliquo philosophorum“ (Цицерон), т. е. „нет такой глупости, которой не сказал бы какой-нибудь философ“.

VI.

Счастливая наследственность, как мы видели, гармонично сочетая противоположные черты психического склада, ведет к тому, что

назвал бы *биологическим расширением комбинационного поля творческой фантазии*. В этом отношении одаренный человек является *из ряда вон выходящим, ненормальным*, в смысле *превышения* средней нормы одаренности. У дегенерата противоположные психические черты сочетаются уродливым образом, т. е. понижают творческую продуктивность,—он тоже из ряду вон выдающийся, *ненормальный*, но в смысле *недостижения* средней нормы. Отожествление гения и безумия основано на двусмысленности термина—ненормальный:

Ненормальный—безумец.
Гений—ненормален.
Гений—безумец.

А так как между нормальностью и ненормальностью психического склада существуют бесчисленные переходы, и притом человек (патологически), не совсем нормальный в одном отношении, может быть *выше* нормы во множестве других, то спутанность мысли à la Ломброзо в этом вопросе делается очевидной. При этом нужно иметь в виду, что натуры, особенно богато одаренные и особенно упорные в творческой работе, могут с течением времени легче терять психическое равновесие, испытывать нервное переутомление и т. п. Мудрено ли, что у множества даровитих людей можно найти особенно в старости черты духовного распада!

Душевные, как и физические, страдания сами по себе не могут быть *причиною* творческой продуктивности; они иногда могут быть лишь косвенными *поводами*, благоприятствующими изобретательности: 1) Болезненность, если она не поражает существенным образом самое творческое дарование, может благоприятствовать *самоуглублению*. Болезненный, но даровитый ребенок чаще проводит время в одиночестве, которое дает ему возможность сосредоточиться на своем внутреннем мире. Подобное явление мы наблюдаем у Леопарди, Пристли, Мэн-де-Бирана и многих других философов, про которых можно сказать то же, что поэт говорить про художников:

„Zu erfinden, zu ercshliessen.
„Bleibe, Künstler, oft allein!"

Лет за двадцать до того (1799) Мэн-де-Биран писал: „Чувство собственного существования, в виду непрерывности, делается незаметным. Когда не страдаешь, то почти не думаешь о себе, нужно, чтобы болезнь или сила рефлексии заставила нас снизойти в самих себя. Лишь нездоровыи натуры (gens malsains) чувствуют, что

они существуют. Здоровые люди, даже философы, более стремятся пользоваться жизнью, чем заниматься изысканием, что она такое есть. Чувство собственного существования не удивляет их; здоровье влечет нас к внешним об'ектам, болезнь приводит к самим себе". Кабанис отмечает у Мэн-де-Бирана крайне утонченную чувствительность (См. Naville: „M. de-Biran").

2) Болезненное возбуждение может в не слишком сильной степени быть конечным стимулом, „химическим толчком", для широкого размаха творческой фантазии, для диссоциации привычных связей чувств и представлений, для порождения той δεῖνα μανια, для которой завершился подготовительный творческий процесс.

3) Наконец, возможен третий, совершенно исключительный случай, когда собственная душевная болезнь является для философа об'ектом научного психологического самонаблюдения. Такое явление мы наблюдаем в творчестве высоко даровитого и философски просвещенного русского психиатра Кандинского, который, страдая *псевдогаллюцинациями*, дал мастерское описание этого явления, совмещая в себе личность философа, врача и пациента. Равным образом Ламеттри, переживший горячку, и О. Конт, оправившись от душевной болезни, воспользовались данными самонаблюдения для некоторых философских выводов. См. биографию Ламеттри, приложенную к р. переводу „L'homme machine" и „Историю новейшей философии" Геффдинга (глава о Конте).

VII.

Гельвеций был прав, подчеркивая великое значение социальных условий в научном творчестве. Эти условия в своей совокупности могут оказывать благодетельное или обратное действие на комбинационное поле творческой фантазии. В виду этого можно говорить о *социологическом расширении этого поля*. Здесь надо принять во внимание: 1) *Географические условия*. Глухие местности с однородным составом населения менее благоприятны для пробуждения творческой деятельности, чем, например, портовые города. Рейбмайр в вышеупомянутой книге дает карты Греции и Италии с указанием местностей, откуда преимущественно выходили даровитые люди. Эти карты красноречиво подтверждают высказанное положение. Можно прибавить, что Кант, Шопенгауэр, Ренувье и Конт выросли в портовых городах среди смеси „одежд и лиц, племен, наречий и состояний" (Кенигсберг, Данциг, Монпелье). Весьма часто такую же расширяющую духовный кругозор роль играли для философов *пу-*

тешествия. Их совершили многие греческие философы Декарт, Локк, Юм, Шопенгауэр, Ницше и т. д.

2) Не менее важную роль играют *экономические* условия. Одэн говорит, что аристократический ребенок имеет *200 шансов против одного,* чтобы выдвинуться в люди по сравнении с пролетарием. Еще не существует работы, которая поставила бы своей задачей определить общественное и классовое происхождение философов. Можно однако, думается мне, лишь отметить тот факт, что особенно часто до сих пор философы выходили из *духовного сословия,* затем часто встречаются дети юристов, врачей, ученых и учителей.

Весьма важный вопрос о роли *экономического* фактора в процессе образования философских систем совершенно не разработан, и попытки, делавшиеся в этом направлении историками философии, до сих пор, к сожалению, крайне поверхностны. Нельзя же, в самом деле, принимать в серьез заявления вроде следующих („Neue Zeit"), будто появление „Философии Бессознательного" Гартманна свидетельствует о том, что буржуазия, как класс, начинает терять свое сознание, или уверение Штиллиха, что появление атомистики Демокрита связано с развитием денежного хозяйства, ибо-де „атомы—теже деньги". Наиболее серьезные мысли в этом направлении можно найти в книгах: *Eleutheropulos*: „Wirthschaft und Philosophie" и *Patten'a*: „History of english thought". Но и в этих сочинениях сказывается слишком плохое знание общеизвестных исторических фактов". Так, например, Элейтеропулос сообщает, что к началу V-го века резкое обострение контраста между роскошью и нищетою в ионийских колониях вызвало потребность в реформе социальных условий. Пиѳагор ощутил потребность в подобной реформе и для ее осуществления руководился спартанским идеалом. Однако, ионийцы могли бы задаться вопросом, почему надо прежний образ жизни изменить на новый. Это-то и побудило пиѳагорейцев указывать на то, что в подобном понимании жизни кроется *закон,* каковой имеет как раз мировое значение, будучи мировой гармонией. Пиѳагор борется против половой и иной *неумеренности* ионийцев, против которой выдвигается учение о *переселении* душ и связанное с ним воззрение на очищение души. Элейтеропулос и не подозревает, что взгляд Бенна на *дорическое мировоззрение* пиѳагорейцев опровергнут Эдуардом Мейером, и Wilamowitz—Moelendorf'ом (см. Маковельский: „До-Сократики", т. 1, стр. 62).

Соотношение между *интеллигентностью* и социальным положением должно быть всесторонне изучено экспериментально-психологическим путем в связи с основательным историческим

освещением философского творчества. Психологическое исследование в этом направлении начато лишь в самое недавнее время. Последняя работа по этому вопросу, известная мне и заключающая в себе и историю вопроса, это исследование: „The relation of intelligence and social status", by James W. Bridges and Lillian E. Coler (Psychological Review, V. XXIV, January, 1917). Исследование это, подобно работам Бине во Франции, Гоффмана в Германии и Yerkes'a, в Соединенных Штатах, подтверждает факт весьма большой зависимости интеллигентности детей от социальных условий. Любопытна корреляция между интеллигентностью детей и характером профессии родителей. Если резюмировать исследование 165 детей возрастом от 7 л. и 5 м. до 8 л., то оно выразится в следующей таблице:

	Число испытуемых.	Средний хронологический возраст.	Средний интеллектуальн. возраст.	Коэффициент интеллектуальной подготовленности.
Дети учителей, врачей, священников, юристов, издателей, архитекторов	32	7 л. 5 м.	9 л. 8 м.	1,42
Дети комми-вояжеров.	39	7 л. 6 м.	9 л. 1 м.	1,26
Дети владельцев торговыми предприятиями, офицеров	34	7 л. 10 м.	9 л. 1 м.	1,21
Дети рабочих со специальной подготовкой (механики, электротехники, сапожники и т. п.).	63	8 л.	7 л. 10 м.	1,12
Дети рабочих без специальной подготовки	60	8 л.	7 л. 1 м.	0,83

Здесь заслуживает внимание тот факт, что, несмотря на возрастание хронологического возраста от одной группы к другой, интеллектуальный возраст убывает. Превосходство детей более образованных классов сказывается особенно ярко в высших умственных операциях, каковы способность к анализу и абстракции; в сфере ощущений и двигательных функций оно сказывается в меньшей степени. Таковы наблюденные факты, но как представители „теории среды", так и сторонники „теории наследственности", могли бы истолковать эти факты каждый в свою пользу. Так, первые подчеркнули бы со-

вершенно очевидную разницу в школьной и до-школьной обстановке, в предподавательском составе и т. д. более привилегированных и менее привилегированных групп, а вторые столь же энергично подчеркнули бы совершенно столь же очевидную разницу в характере и интеллигентности родителей. Классовое положение философов еще не было специально обследовано, но, как я уже заметил, большинство из них, биографии коих мне известны, дети интеллигентных родителей. Сын угольщика,—Виктор Кузен, сын сапожника—Джэмс Милль, сын тесемочника—Фихте, сын солдата Джиордано Бруно не составляют, строго говоря, исключения, ибо счастливая случайность в ранней юности ввела их в высоко культурную интеллигентную среду.

VIII.

3) Далее, следует отметить влияние, как *школы* вообще, так и философской школы: Сократ—Платон, Платон—Аристотель, Мартин Кнуцен—Кант, С. Симон—Конт и т. д. В некоторых случаях, как, например, в лице Лейбница, мы встречаем *самоучку* в области философии. Под единством философской школы я разумею общность взглядов на *сущность* познания, на *методы* его обоснования, на *технические навыки* в процессе исследования и на литературный *стиль* изложения. При этом *принадлежность* к известной школе есть понятие весьма растяжимое. Двух лиц—А и В может об'единять в сознательной принадлежности к известной школе *меньшее* количество общих черт, чем двух лиц А и С, которые называют себя представителями совершенно различных школ. В истории всякой философской школы можно отметить то, что я назвал бы процессом *поляризации* в предпосылках первоначальной системы. Каждый крупный мыслитель, полагающий начало новому философскому синтезу идей, об'единяет в своем построении противоположные моменты философской мысли. Эти противоположности, об'единение коих нередко достигается ценою *некоторых неясностей или недоговоренностей* в центральном пункте системы, расщепляются у последователей школы, которые дают неизменно *правое*, *левое* крыло и *центр* стремящийся сохранить прежний синтез, углубляя его путем частных поправок, комментаторства и систематической экзегезы. Нередко в истории школы правое и левое крыло посменно одерживают перевес, как, например, в платонизме (на это указывает Т. Гомперц, см. „Griechische Denker". Bd. III, I),

Эти диалектические расщепления первоначальной системы могут быть в самых различных областях философской мысли и ком-

бинироваться в истории идей с различными видами социальных противоположностей — религиозное свободомыслие и ортодоксия, политический радикализм и консерватизм, эстетический реализм и символизм и т. д. По смерти Платона его господство над Академией сменяется управлением племянника Спевзиппа, который подчеркивает в учении Платона натуралистическую классификаторскую тенденцию, анализируя роды и виды животных и растений в эмпирико-индуктивном духе, отбрасывая учение об идеях и идее бога, как творческой силы, но выдвигая идею становящагося бога, за что и вызвал упреки в атеизме. Наоборот, Ксенократ в своих воззрениях подчеркивает пиѳагарейские черты поздняго платоновского умозрения, еще сгущая в них элементы *супранатурализма.* Школа Декарта об'емлет близкого к материализму Ламеттри Региуса и близкого к идеализму Беркли Малебранша. Философия Канта породила ряд писателей с наклоном к *эмпиризму и материализму*: Ланге, Риль, Либманн, Авенариус, и ряд наклонных к *интеллектуализму*: Коген, Наторп, Кассирер, Герланд. *Критика чистого разума* расщепилась на *логику чистого познанця и критику чистого опыта.* Система Гегеля дала трещину в нескольких местах, например, в религиозной проблеме, где мы имеем с левой сторены Фейербаха, провозглашающего полную несовместимость идеи личного бога с занятиями философией, и с правой стороны господ, вроде Вейссе или Рейфа; последний вопиет: „Этот Бог (Гегелевский сверхличный абсолют) есть *чудовище, которое высасывает у нас мозг нашего существа,* нашу личность, чтобы наполнить ею себя...“ (См. Каринский: „Критический обзор последнего периода германской философии“, 1873 г., стр. 82-ая). Школа Шопенгауэра породила Дон-Кихота, рыцаря печального образа—Майнлендера, принявшего и развившего до последних пределов идеализм, и пессимизм учителя и *честно* кончившего жизнь самоубийством, и одаренного практической сметкою, здравым смыслом Санхо-Панхо—Фрауэнштэдта, который легко разделывается с мистическим идеализмом Шопенгауэра;—его философия, по словам Гартманна, относится к философии его учителя, как пыльная берлинская аллея к роскошному девственному лесу далекой Индии. Иногда крупный гений выделяется из „планетной системы“ известной школы и образует самостоятельное солнце—центр новой планетной системы. Такова была судьба Платона, Аристотеля, Канта.

IX.

4) Далее, существенно влияние *круга чтения* и, в частности, *философского чтения.* Именно у Лейбница мы наблюдаем влияние с

детства общения с богатой библиотекой. Утверждение, будто великие философы мало читают или даже совершенные невежды в истории философии и литературе, в корне ошибочно. Иногда они притворяются, как Декарт, будто мало читают предшественников; иногда они, подобно Малебраншу, Руссо, Шопенгауэру, Конту и Ницше, проповедуют воздержание от чужих книг, но факты показывают совершенно иное: философ всегда „in angulo cum libello". В особенности в юности все философы переживали пароксизмы *запойного чтения*. Недавние исследования Шляппа обнаружили, как широко был осведомлен Кант в современной ему изящной литературе. Руссо пишет: „Я читал все с одинаковой жадностью на посылках, в конюшне, в ватерклозете, забываясь там в течение часов, голова у меня кружилась от чтения, я только им и занимался, мой хозяин выслеживал меня, застигал меня на месте преступления, бил, отбирал книги". „Вы должны знать,—пишет Юм своему доктору (1722 г.),—что я с самого раннего детства неизменно сохранял сильную наклонность к книгам и литературе". В. Гамильтон также с детства „a hard reader". У Адама Смита школьные товарищи отмечают „an extraordinary passion for the books". Проповедывавший в зрелом возрасте „hygiène cérébrale" Конт в юности читал запоем. Так, в 1816 г. он, по словам Longchamp, прочел Фонтелля, Мопертьюи, Адама Смита, Дидро, Юма, Кондорсэ, де-Местра, де-Бональда, Биша и Галля (см. Gruber: „A. Comte", S. 22—23).

Эта жадность философов к чтению, в которой сказывается мощный инстинкт *любознательности*, отнюдь не представляет стремления к бесформенной эрудиции. Именно потому они и осуждают чрезмерное и бестолковое чтение. Так, Кант разделяет все книги на четыре группы: 1) те, которые обогащают наши *знания*, 2) которые содействуют *моральному усовершенствованию*, 3) *которые содействуют усовершенствованию языка и стиля*, и 4) которые служат предметом *развлечения*. Шопенгауэр оттеняет в процессе чтения „активную" критическую работу Sebstdenker'a. По его мнению, пассивное чтение убивает самодеятельность мысли, а Ницше, этот туго-ученый эрудит, в „Ecce homo" заявляет, что воздержание от чтения книг на целые годы было величайшим благодеянием для пробуждения в нем духовной самодеятельности („Ecce homo", фр. перевод, стр. 111).

Протест против „чрезмерности истории", против книжной традиции, подавляющей самодеятельность философской мысли, особенно против *древнегреческой* философии, мы встречаем у того самого Юма, который вполне оценивает значение культурного общения в научном творчестве у *современных народов*, забывая, что в обоих случаях при

умелом пользовании книгой получается *социальное обогащение комбинационного поля творческой фантазии*. „Я нередко склонялся к мысли, что перерывы научных периодов (еслибы они не сопровождались гибелью древних книг и исторических памятников) скорее благоприятствовали бы, чем вредили бы, успеху наук и искусств тем, что такие перерывы содействовали бы ограничению влияния авторитета и низложению с трона узурпаторов, тиранизировавших человеческий разум; дело здесь обстоит так же, как и с перерывами в управлении в политических обществах. Стоит обратить внимание на смешную подчиненность древних философов главарям их школ, чтобы убедиться, что подобная рабья философия не могла бы создать ничего хорошего, даже еслибы она продолжала существовать сотни веков... Начиная с эпохи возрождения, нет больше речи о стоиках, эпикурейцах, платоновцах, пиѳагорейцах, ни одна из этих сект не оказалась в силах восстановить свой авторитет, и воспоминание об их крушении помешало людям слепо подчиняться вновь образовавшимся сектам, которые пытались овладеть их умами“ (Oeuvres philosophiques de Hume t. dixième, 1788, p. 271—273). В этой цитате Юм благоразумно умалчивает о скептиках и, в частности, о Сексте Эмпирике, произведения которого были переведены на латинский язык в XVI в. и наверное были известны Юму. Сличение „Трактата“ с сочинениями Секста Эмпирика было бы лучшим ответом на эту тираду. В другом месте Юм усматривает благоприятные условия для прогресса наук и искусств в политической свободе, соседстве культурных стран и культурном уровне данной страны. Тут он пишет: „Что остановило успех картезианской философии, которой Франция минувшего века была столь привержена? Одно лишь противодействие других культурных народов, которые вскоре обнаружили слабые стороны этой философии. Не соотечественники Ньютона, а иностранцы подвергали его теории наиболее строгой критике, и если эта теория оказывается в состоянии преодолеть противодействие, встречаемое фактически во всей Европе, то это значит, что она перейдет победительницей и к отдаленнейшим потомкам“ (Essais moraux et philosophiques: „L'origine et les progrès des arts et des sciences“ (XVII-me Essai)“.

5) Чрезвычайно существенным стимулом к творчеству является *признание со стороны общества* — не Его Величества. Большинства, но *сведующих, знающих, подготовленных* к пониманию новых откровений человеческой мысли. Именно таково истинное значение того стремления к *славе*, которое, по признанию философов, играло известную роль в качестве импульса к духовной работе. Платон и Аристотель

отдают себе вполне ясный отчет в значительности их философских открытий. Паскаль говорит: „Те, кто пишут против славы, ищут славы хороших писателей, а те, кто их читает, хотят прославиться тем, что читали их, и я, пишущий эти строки, имею, быть может, подобное же желание и, пожалуй, и те также, которые это прочтут". Когда (в 1666 году) Лейбницу было 20 лет, его диссертация была отвергнута в Лейпциге. Ждать пять лет, чтобы снова домогаться степени доктора, он не захотел. „Когда я заметил происки моих соперников, то переменил решение: меня потянуло путешествовать и изучить математику. Ибо я считал недостойным молодого человека сидеть точно пришпиленным к своему месту: *дух мой горел желанием снискать большую славу* и посмотреть свет" (Автобиография Пацидия Куно Фишер: „Лейбниц", стр. 48). Трактат Юма (1739) вызвал весьма сочувственный отзыв в „History of the works of the learned" (1739, № 10), где отмечается талант автора (Marks of a swaving genius), и Юм сравнивается с Мильтоном и Рафаэлем в их первом выступлении.

И что же? Юм находит эту рецензию somewhat abusive и отмечает полный неуспех своего сочинения. Гексли считает вероятным, что Юм бросил философию и перешел к политике, благодаря неудовлетворенному самолюбию. Колоссальное честолюбие юного Шопенгауэра и Ницше общеизвестно. Говоря о мотивах своего творчества, Спенсер замечает: „Желание *создать* что-нибудь и завоевать себе славу сыграло очень большую роль". В зрелом возрасте, когда у философа уже сложилась теоретическая система, он начинает нередко упорно и страстно проводить ее в жизнь. Платон мечтает, силою опираясь на сиракузского тирана, провести свою социальную реформу в жизнь. Плотин задумывает основать идеальный город Гелиополис на основах своего этического учения. Лейбниц активно участвует в политической жизни. Фихте является непрестанным политическим агитатором. Беркли едет на Бермудские острова основывать свое идеальное государство. Конт обращается к Николаю I, турецкому султану Абдул-Гамиду и ордену иезуитов для проведения в жизнь своих начал позитивной политики, Соловьев хлопочет о соединении церквей. Ренувье мечтает при содействии либерального протестантизма пропагандировать неокритицизм. Гоббес и Локк принимают активное участие в политических событиях своего времени. Под старость честолюбие и „административный восторг" нередко принимают у философов прямо смешные и патологические формы. 15-летний С. Симон велел своему слуге утром ежедневно будить его со словами: „Levez vous, monsieur le comte, vous avez de grandes choses à faire". У Ницше с раннего дет-

ства резко выражена тенденция „etwas besonderes zu sein“ (Moebius „Nietzsche“).

Ницше в „Утренней Заре“ (§ 462 „Философ и возраст“) отмечает три признака усталости: 1) вера в свой гений—гениальничанье, 2) произвольное фантазирование вместо доказательств, 3) крайне вздутое честолюбие. Читая „Ecce homo“ того же Ницше, нередко вспоминаешь его же афоризм, с грустью думая: „Fabula de te narratur“.

X.

Имеющий и биологическую, и социологическую стороны вопрос о значении *национальности* в проявлениях одаренности и изобретательности и, в частности, в философском творчестве не разработан, хотя и представляет большой психологический интерес. Найт (Knight) предполагал однажды выпустить серию монографий по истории философии, кладя в основу деления принцип национальности, но это издание не пошло далее первого выпуска. Сложность проблемы очевидна: в понятии национальности своеобразно сочетается общность *расового* происхождения, общность *языка, территории, государственного и культурного строительства, религии и социальных идеалов.* Между тем, признавая мировое единство науки и научной философии, являющихся выражением стремления к *вселенской истине,* нельзя не допустить национальных особенностей психического склада у философов и связанных с этим существенных *оттенков в приемах творчества.* С другой стороны, если признать, что теоретическая истина—*правда-истина,* едина и моральная истина едина и художественная истина, то все же они *многогранны* и *многоцветны, подходы к их постижению многоразличны,* и здесь могут осязательно сказаться национальные различия у гениев-изобретателей. Чтобы разобраться в этой сложной проблеме, необходимы не только разработка многих запутанных исторических и психологических вопросов, но и исключительная *широта* взгляда, свобода от узкого национализма. Между тем, мы встречаемся у философов *с самой отвратительной исключительностью и нетерпимостью именно по данному вопросу.* Кант хочет уверить нас, оценивая одаренность различных народов (Anthropologie), что англичанин — плод, француз — цветок, а немец — корень. Русским он *отказывает* совершенно в творческой изобретательности *).

*) „Den Russen soll das Genie fehlen, so dass sie es auch nicht lernen können, und bei ihnen die Wissenschaften immer aussterben“. См. Schlapp: „Die Anfänge von Kant's Kritik des Geschmack und des Genies. 1899.

Фихте в „Речах к немецкому народу“ ставит немцев превыше всех других народов по одаренности. *Гегель* говорит в своей „Истории философии“ лишь о германском мире, проникнутом христианством, как сфере всеобщей свободы, и признает всего две философии — греческую и германскую. *Дюринг* смотрит на славян и евреев, как на расы низшего порядка, подлежащие вытеснению и даже истреблению, *Фалькенберг* в своей „Истории новой философии“, давая поверхностную характеристику национальных особенностей в научном мышлении англичан, французов и немцев, приходит к отрадному для своих соотечественников выводу, а именно, что немец „соединяет в себе широкий полет француза с упрямой флегмой англичанина“ (стр. 58) и т. д.

Наконец, еще весьма важным источником социальных влияний является *общий культурный и философский уровень* эпохи, то, что Гегель в своей „Эстетике“ называет *состоянием мира*. Спенсер справедливо указывает на невозможность появления, например, Ньютона среди дикарей — великий человек непосредственно примыкает к предшественникам; при всей его оригинальности он все же есть лишь *ближайший подражатель — proximate imitator*! Не может быть сомнения, что философское творчество, как и творчество в области специальных наук, входит в соборную духовную работу всего человечества и в значительной мере связано с условиями духовного развития данного момента, хотя, быть может, как мы увидим, в меньшей степени, чем специальные науки. Ментрэ (Mentré) в интересной статье в „Revue scientifique“ (1904 г.) обращает внимание на замечательный факт в истории положительных наук, а именно, на *одновременность научных открытий*. Великие открытия Дарвина и Уоллеса были ими обнародованы в докладах, которые были прочтены в один день, а именно 1 июля 1858 г. Доклады Cros и Hauron о процессе косвенной цветовой фотографии были прочтены во французском фотографическом обществе в один день. Грэхам Белль представил прошение на получение патента на телефон 2 часами позже Элизы Грей (24 февраля 1876 г.). Когда Cailletet читал доклад о превращении газов в жидкое состояние (24 декабря 1877 г.), председатель получил телеграмму из Женевы с уведомлением об успешных опытах Пикте. Ментрэ приводит до 50 примеров одновременных открытий из всех областей знания от математики до социологии.

Вот его таблица в несколько сокращенном виде:

Математика.

Метод неделимых: Кавальери—Роберваль.

Аналитическая геометрия: Декарт—Фермат.
Исчисление бесконечно малых: Ньютон—Лейбниц.
Неэвклидовская геометрия: Лобачевский, Гаусс, Риман.

Астрономия.

Открытие солнечных пятен: Фабрициус—Галилей.
Открытие спутников Юпитера: Мариус—Галилей.
Открытие Нептуна: Леверрье—Адамс.
Открытие спутника Юпитера: Бонд и Лассель.
Открытие спектроскопического метода для наблюдения солнечных пятен: Янсен—Локьер.

Механика.

Принцип инерции: Ряд противников Аристотеля в начале XVI в.
Параллелограмм сил: (предуг. Стевином) Вариньон и Ньютон.
Законы падения тел: Гюйгенс, Врен, Валлис.
Механическая теория теплоты: Майер, Кальдони, Сегэн, Джоуль, Мор, Гельмгольц.
Химическая механика: Мутье, Гартсманн и Джиббс.

Физика.

Опыты с электрическим змеем: Франклин и де-Ромас (1752).
Электрическое золочение и серебрение: Эльпингтон—Руольц (1841).
Электрический телеграф: Штейнгейт, Уитстон, Морз.
Явление индукции: 1847, Гельмгольц—Томсон.
Телефон: 1876, Белль-Грей.
Фонограф: 1877, Эдиссон—Шарль Кросс.
Болометр: Ланглей и Бауэр.
Радиактивность в соединениях тория: Г-жа Кюри и Шмидт.

Химия.

Кислород: Пристли, Шееле, Лавуазье.
Разложение воды: Кэвендиш—Монж.
Хлороформ: 1831, Субейрон, Либих, Гутрей.
Коллодиум: 1840, Муанар, Менар.
Талиум: Крукс—Лами.
Классификация элементов: 1864, Менделеев и Л. Мейер.
Стереохимия: Ле-Бель, Баум, Гофф.
Ацетилен: Траверс, Вильсон, Муассон.

Биология.

Теория остановки развития: Ж. С. Илер—Меккель (1812).
Ресничные мышцы в человеческом глазе: Мюллер и Руже.
Аналогия—череп и *позвонок*: Гете, Ж. С. Илер.
Теория трансформизма: Гете, Эр. Дарвин, Ж. С. Илер.
Естественный подбор: Дарвин—Уоллес (1858).
Теория клеточки: Шлейден, Распайль.
Антисептика: Гэрэн и Листер.
Бациллы чумы: 1894, Кит и Вереж.

Социология.

Дифференц. рента: Вест-Мальтус, 1815.
Появл. принципов социализма: С. Симон, Оуен.
Экономическое понимание истории: Маркс и Ле-Плэ (Le-Play)(?).
Математическая теория оборота: С. Джевонс—Вальрас.

Таблица эта заслуживает внимания, хотя некоторые сопоставления искусственны и даже прямо неверны.

По мнению Ментрэ, для такой одновременности возможны только три об'яснения: 1) случайность совпадения, 2) умышленное соглашение (entente volontaire) ученых и 3) социальный детерминизм. Первые два предположения, как явно неправдоподобные, отпадают, и остается лишь третье. Все современные ученые данной специальности, стоящие на уровне знания данного момента, исходят в своем творчестве из аналогичных предпосылок; естественно, что они и приходят к аналогичным результатам. Я бы сказал так: у них *однородные социологические условия для комбинационного поля* творческой фантазии. В философии есть свой прогресс, своя непрерывность и закономерность развития, и в ней можно наблюдать аналогичную одновременность изобретений. Я приведу два примера, один из области метафизики, другой—из области психологии.

Опровержение догматического реализма, т. е. доказательство, что понятие материи, никем не познаваемой, заключает в себе внутреннее противоречие, было дано одновременно и независимо друг от друга Беркли в „Treatise on the human nature“ и Колльером в „Clavis Universalis“ в 1710 г., причём в высокой степени вероятно, что оба философа ничего не знали друг о друге. Разумеется, путь открытия способа доказательства у того и другого различен. Так, у Беркли нет антиномий бесконечности пространства и времени, которыми пользуется Колльер. Фрэзер пишет: „The coincidence is

among the most curious in the history of philosophy". Идеи Беркли выросли из Локка, идеи Колльера—из Малебранша и схоластиков.

В 1884 г. Джэмс опубликовал знаменитую статью о природе эмоций, где развивал мысль об участии органических ощущений в образовании различных эмоций. Тремя годами позднее датский психиатр Ланге развил подобную же теорию. Но при близком рассмотрении оказывается, что обе теории имеют лишь самое общее сходство, и выражение „теория Ланге-Джэмса" едвали допустимо. Мы увидим ниже, что в истории философских систем, как в истории машин и научных открытий, есть своя непрерывная связь, и к области и тех, и других изобретений применимы слова Бэкона: „Certo sciant homines artes inveniendi solidos et veros adolescere et incrementa sumere cum ipsis inventis".

XI.

История изобретений дает нам поразительное подтверждение приведенных слов Бэкона. Каждое изобретение через ряд непрерывных и прерывных усовершенствований развивается. Два изобретения A и B, различного порядка, сочетаются вместе и дают новый синтез C, другие два—E и F, удачно комбинируясь, дают G и т. д. Но одинаково ошибочно рассматривать этот процесс, как *непрерывную* интеграцию чуть заметных перемен, и как резко *прерывный* переход от одного изобретения к совершенно другому. *Всякое изобретение есть усовершенствование*, но заключающее в себе рядом с моментом непрерывности, постепенности и черту *творческую*—прерывность, ибо комбинируются в новом синтезе элементы предшествующего изобретения *качественно разных порядков*. Так, искусственное добывание огня является *революционным, резко прерывным* по сравнении с предшествующей индустрией скачком в развитии техники. Миф о Прометее-изобретателе недаром лежит в основе истории техники и истории философии, — он похититель небесного огня и небесной мудрости. Добывание огня сразу открывало возможность для обособленных, диспаратных рядов изобретений: металлургия, архитектура, керамика, земледелие, мореплавание, торговля и т. д. Звенья каждого из этих рядов опять же могли давать основания для новых комбинаций между собою,—постройка металлических домов, устройство хлебных эллингов и т. д. В виду сказанного, нельзя согласиться со словами Араго: „Ошибочно думать (а я не вполне избег подобной ошибки), будто паровая машина есть простой об'ект, для которого надо непременно подыскать изобретателя. Кто изобретатель часов? Никто.

Надо спросить, кто изобрел гири, маятник, часовой ход. В паровую машину входят несколько капитальных идей, которые вышли не из одной головы. „Туже мысль развивает, как мы видели, Бурдо. Но ложность ее очевидна. Если в идею паровой машины вошло несколько *капитальных идей*, то всеже каждая из этих идей, принадлежащая порознь *одной голове*, тем не менее *капитальна*, т. е. заключает в себе прерывный момент, „узловую точку", „мутацию" в эволюции изобретения. Если неправильно говорить, что книгопечатание *просто* изобрел Гутенберг, то правильно говорить, что до 1400 г. существовало печатание с деревянных досок карт и образов с надписями; что Laurent Costez стал *разрезывать на отдельные буквы* ксилографические доски, Гутенберг стал *выливать* буквы из металла, Шеффер ввел медные буквы (инкунабулы) и т. д., вплоть до стереотипа и ротационной машины XX века. Открытия разного порядка комбинируясь дают сложные машины (напр., сочетание электрического двигателя с печатной машиной), и все это порождает своеобразное *генеалогическое дерево изобретений*, своеобразную многоветвистую диалектику технического творчества, притом количество открытий все с большим ускорением увеличивается; благодаря все большему социологическому расширению комбинационного поля творческой фантазии в области техники. Можно провести некоторую аналогию между *строительством систем* и *строительством машин*. Смена философских систем давала и дает обильную пищу для остроумия изверившихся в могущество разума нигилистов и скептиков. Они могут с наслаждением повторять бессмысленную остроту Ницще: „Философ думает, что ценность его философии лежит в целом, в строении, но потомство находит ценным только камень, из которого можно построить новое и лучшее здание, т. е. ценно для него именно то, что здание можно разрушить и всетаки оно полезно, как материал" („Заблуждения философов", § 201).

Этому издевательству над человеческим разумом нужно противопоставить мудрые слова Пуэнкаре: „Следует сравнивать ход наук не с перестройкой города, при которой старые здания беспощадно уничтожаются и замещаются новыми, но с непрерывной эволюцией зоологических типов, беспрестанно развивающихся так, что они становятся неузнаваемыми для глаз неопытного, но опытный глаз всегда находит в них следы предыдущей работы истекших веков". Слова эти всецело применимы и к истории философии. Изобретения философов также образуют частью непрерывную, частью прерывную, т. е. коленчатую лестницу усовершенствований. По аналогии с эволюцией машин можно было бы изобразить и эволюцию философских

аспектов на „машину-мира“ („Worldmachine“). Поясню это на примере генезиса „Критики чистого разума“ Канта.

Гносеология Канта выросла: 1) из изучения в коллегии материализма древних (Лукреция). Он пишет: „Die Epicureer—die besten Naturphilosophen unter allen Denkern Griechenlands“. В теории неба он пишет: „Теория Лукреция или, точнее, его предшественников Левкиппа и Дамокрита имеет много сродства с моей теорией“. 2) Из Лейбнице-Вольфовской философии. 3) Из изучения творений Ньютона. 4) Из скептицизма Юма. 5) Из чтения Локка, Беркли, Мопертюи и Колльера, Бэйля, Д' Аламбера. 6) Из изучения Платона. 7) Из изучения Аристотеля. Если объединить известным образом эти идеи, то окажется, что „Weltbild“ в „Критике чистаго разума“ можно рассматривать, как „мировую машину“, в которой видоизменялись и совершенствовались отдельныя части постепенно, и которая образует у Канта лишь новый необычайный синтез. Однако мы увидим ниже, что философская система имеет отдаленную аналогию с машиной, организмом или поэмой.

XII.

Я озаглавил мою книгу „Философия изобретения“. Можно по этому поводу задаться вопросом о различии терминов *открытия* и *изобретения*. Файингер в своей книге „Philosophie des Als-Ob“ (1911, стр. 149—150) проводит между этими понятиями такое разграничение. Источником *открытия* является гипотеза, которая находит себе подтверждение в данных опыта, так сказать, раскрывает перед нами некоторую естественную законосообразную связь данных опыта. Изобретение есть порождение фикции, искусственнаго понятия, вспомогательной конструкции мысли, которая имеет чисто „инструментальное“ значение, являясь лишь эвристической уловкой, методологическим приемом. Так, закон тяготения есть *открытие* Ньютона, а дифференциальное исчисление—*изобретение* Лейбница. Так, мы открываем законы природы и изобретаем машины. Впрочем, и сам Файингер признает трудность разграничения. Я предпочитаю употреблять в расширенном смысле термин *изобретение*, ибо в нем подчеркивается *творческий активный момент человеческой мысли* (изобретательность ума). В открытии более подчеркивается *эмпирическая данность* новых областей физическаго или духовного мира. Нельзя сказать, что Колумб *изобрел* Америку или Вебер *изобрел* известный психофизический закон, как нельзя сказать, что Аристотель *открыл* силлогизм; поскольку

речь идет о *результате* творческой работы, мы сохраняем это разграничение, но поскольку речь идет о *процессе* открытия, можно сказать, что в основе *всякого открытия*, если оно не есть случайная *находка*, лежит новое *изобретение* мысли, *конструкция нового научного понятия*.

Если всякое научное и философское изобретение есть прежде всего конструкция нового *понятия*, то оно, очевидно, глубоко отличается и от простой *приспособляемости* животного к новым условиям среды, и от *находчивости* обывателя в непривычной и затруднительной обстановке. Это можно пояснить на одном примере—преодоление трудности ориентироваться в *лабиринте*. Торндайк (Thorndyke), Портер и другие произвели ряд экспериментов над птицами (воробьи, американские кукушки) с целью исследовать их уменье приспособиться к необычным условиям и их память по отношению к приобретенным навыкам. Они устроили ряд лабиринтов неправильной формы и с все возрастающей сложностью; в средине лабиринта помещалась пища. Кривая, выражавшая процесс приобретения привычек, строилась сообразно *длине времени*, потребного на прохождение лабиринта, и *числу испытаний*, причем оказалось, что после небольшого ряда опытов обнаруживалось быстрое и резкое ускорение времени прохождения, затем это ускорение сильно замедляется. При повторении опытов через месяц оказалось, что птицы, скорее приспособлявшиеся (воробьи), скорее забывали усвоенное, между тем как приспособлявшиеся медленнее (американские кукушки) проявили через месяц более понятливости. См.: Piéron: „Evolution de la memoire".

Вот приспособляемость животного, в которой, если и участвует интеллектуальная сообразительность, то в самой зачаточной и смутной форме. Лабиринты в паноптикуме и садовые лабиринты (например, лабиринт в Hampton Court, около Лондона), сделанный при Уилльяме IV-м (1689—1702), служат испытанием *находчивости* обывателя, который в процессе искания выхода из лабиринта может руководиться не только памятью, но и некоторыми отвлеченными соображениями, конечно, довольно элементарной формы, касающимися исключительно данного случая. Для ученого проблема, подобная исканию выхода из лабиринта, может дать повод к постановке известного теоретического вопроса в *общей форме*. Именно подобный случай имел место, когда Эйлер обратил внимание на кенигсбергскую задачу *семи мостов*. Мемель у Кенигсберга разделяется на два рукава, до этого разделения он расширяется, в средине расширенной части находится островок, соединенный

с берегами пятью мостами. Кроме того, имеются еще два моста— один через Мемель до водораздела и один в одном из образовавшихся рукавов. Задача заключалась в том, чтобы обойти все эти мосты один за другим, ни разу не возвратясь назад. Эйлер показал, что задача неразрешима, так как она противоречит одному из начал той *геометрии положения*, создателем которой (наряду с другими геометрами) он явился в труде: „Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis" (1741). Здесь мы уже имеем не приспособление, не находчивость, а научную *изобретательность—конструкцию нового понятия*.

В основе изобретательности человека лежит *сложная совокупность наклонностей и инстинктов* (см. т. II-й, V-ю главу: „Генезис творческой воли"). Стремление к удовлетворению *житейских нужд и свободная игра творческих способностей*, как мы увидим, в равной мере принимают здесь участие. Мэзон (Mason) в превосходной книге: „The primitive invention" устанавливает два вида изобретений: те, в которых удовлетворяются потребности, воздействующие *снутри кнаружи* (those who act from within the individual), как голод, усталость, потребность в упражнении (Functionsbedürfniss) и половое влечение, и те, которые вызваны импульсами, действующими *снаружи кнутри* (противодействие холоду, диким зверям, врагам и т. д.), причем он отмечает, что у низших животных дисгармония со средою является минимальною, а у высших — максимальною, благодаря восприимчивости к большему количеству раздражителей. Мэзон устанавливает следующие стадии в развитии технических изобретений: 1) пользование естественными предметами (камень, зуб животного); 2) легкая модификация этого предмета; 3) модификация, создающая новое назначение — камень-молоток; 4) перенос различных форм и структур на различный материал, например, репродукция выдолбленной тыквы: а) в глине, б) в плетении, в) в дереве; 5) изменение формы предметов для различных назначений; 6) применение двигательной силы — человек, лошадь, текучие воды, пар, химические силы, электрические силы; 7) подражание машиной человеческой активности; 8) приумножение человеческой силы механическими, напр., колесо; 9) кооперативный аппарат, требующий соучастия многих людей.

Ни нужда, ни борьба за существование, ни заманчивые перспективы практических выгод не могут *создавать* новые изобретения, но они могут быть значительным побочным импульсом для интенсивной, но свободной игры творческих сил в умах

изобретателей данного времени. Проф. Вальден указывает на тот толчек, который был сообщен изобретателям во Франции при Наполеоне I-м во время блокады Англии: „Сахарный голод и высокие премии, назначенные за изобретения, клонящиеся к его ослаблению, сопровождались изобретением „усовершенствованного метода добывания свекловичного сахара" (см. „Временник Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений", 1916 г., вып. II—III, „Об изобретениях и изобретателях", доклад проф. И. Н. Вальдена). Поводом к изобретению парового молота Нэсмитом явилась нужда в молотах для сооружения машин необычайной силы для парохода „Great Britain"; прежние молоты оказались для этой цели недостаточными. И великие философские изобретения удостаивались *премий*, но главным образом в виде цикуты, костра или тюремного завлючения. Изобретательность развивается всегда изнутри кнаружи, от творческих *потенций* человеческого духа к его *актуальным* проявлениям; значение внешних возбудителей в этом процессе, разумеется, весьма велико, но они никогда не могут всецело обусловливать конечный результат—удачное открытие.

Признавая, что нужда есть мать изобретения, Мэзон в то же время указывает, что в процессе его образования играет важную роль и свободная творческая игра духовных сил человека—его ума, комбинационной способности, ловкости и т. д. Так, игры детей и игры первобытных народов служат почвой для развития изобретательности. На роль *детских* игр в истории изобретений впервые указал Лейбниц; в новейшее время Гросс подробно исследует роль *умственного эксперимента* в детских играх. Мэзон сообщает, что, например, *эскимосы*, при занятии китоловством, создают особые *фиктивные задания*, в которых нужно проявить проворство и изобретательность при воображаемом преследовании животного.

По мере восхождения к более высоким, тонким потребностям человека, каковы религия, искусство, наука и философия, формы изобретения углубляются, *но механизм изобретательности* в основных чертах остается тем же.

В частности, что касается занимающего нас вопроса об изобретении в философии, то нужно, во избежание недоразумений, несколько остановиться на том, что является *исходным* пунктом для философской изобретательности. Если рассматривать этот вопрос с точки зрения *современного* человека, психогенезиса его личности, тогда на него нетрудно ответить. Если же брать вопрос с *исторической* точки зрения, то на него можно ответить удовлетворительно лишь в самых гадательных и общих чертах. Что источником фило-

софских изобретений является *великая философская страсть удивления* человека перед самым фактом его бытия, перед загадками познания и деятельности, перед вопросом о сущности мира и цели бытия,—это бесспорно, не нужно только в эту общую постановку вопроса суб'ективно привносить свою собственную точку зрения, *модернизировать* неведомого нам первобытного человека. Между тем, в эту ошибку впадают и Ренан, и Шопенгауэр, и Шуппе, и Селли. Ренан описывает то, что он называет религиозным инстинктом, и что на самом деле есть лишь одна философская любознательность. „Религия в человечестве то же, что свивание гнезд у птиц. Инстинкт пробуждается с таинственной неожиданностью. Птица, которая никогда еще не имела яиц, никогда не наблюдала этого акта, заранее уже знает, что ей придется выполнять эту естественную функцию. Она с благоговением готовится и с самоотвержением служит цели, которой не понимает. Таким же путем зарождается религиозная идея у человека. Человек шел, ни о чем не думая. Вдруг наступает тишина, точно пауза, пробел в ощущениях: „О, Боже, говорит он тогда про себя,—как странна моя судьба! Правда ли, что я существую? Что такое мир? Не сам ли я — это солнце? Не светят ли его лучи из моего сердца?“ Затем шум, идущий от внешнего мира, возобновляется, просвет замыкается, но с этого момента существо, повидимому, эгоистическое, будет совершать необ'яснимые поступки, „оно будет испытывать потребность в обожании и поклонении“ („Dialogues philosophiques“, p. 55). Гюйо справедливо отмечает здесь смешение чувств современного *философа* с *религиозными эмоциями* первобытной души.

Шопенгауэр посвящает целую главу во II-й ч. „Мира, как воля и представление“ анализу того, что он называет *метафизической потребностью*, и в конечном итоге, незаметно для самого себя, доказывает, что эта метафизическая потребность, отчасти находя себе удовлетворение в буддизме и аскетическом христианстве, *находит себе надлежащий выход в идеализме и пессимизме его собственной системы. Шуппе*, в статье „Das metaphisische Motiv und die Geschichte der Philosophie im Umrisse“ (1882), утверждает, что *метафизическим мотивом* философской изобретательности является *потребность* ответить на два вопроса: 1) „что собственно есть в себе-сущее или абсолютно сущее; 2) путем каких посредствующих понятий это абсолютно-сущее может быть поставлено в соотношение или в связь с множественным, изменчивым, лишь относительно сущим“. И после беглого обзора всех древних и новых философских систем Шуппе показывает, что метафизический мотив может найти себе окончатель-

ное удовлетворение лишь в учении Вильгельма Шуппе, в понятии „Bewusstsein überhaupt", *которое и есть истинно сущее.* Так пишет *догматик идеализма,* а *догматик реализма* Джемс Селли заявляет: „Поддерживая мысль, что в самой основе существования и развития человеческого познания лежит *метафизическая вера,* мы ограничиваемся лишь *констатированием факта научной психологии"* и должны предоставить об'яснение, если таковое возможно, философии („см. James Sully": Outlines of psychology, p. 514—515). Если поверить на слово господам метафизикам, то выходит, что метафизическая вера, потребность, инстинкт, или мотив суть *факты научной психологии.* Какое *новое и легкое доказательство* реальности истинно сущего мы получили бы таким образом! Только нам пришлось бы зараз признать это истинно сущее и физическим миром, и мировою волею, и „Сознанием Вообще". А „Сознание Вообще" Шуппе сближает с личным Богом, которому в заключение своей речи возносит пламенные молитвы „о здравии, долгоденствии и мирном житии" его величества кайзера: „Gott schütze, Gott erhalte den Kaiser". Радикальный скептик в метафизике мог бы вспомнить слова великого пророка: „Горьким словом моим посмеюся!"

Философская потребность в изобретении может быть так формулирована, что подобная формулировка будет приемлемой, как для сторонников, так и для противников метафизики, и эта формулировка сводится к потребности дать разумные ответы на три вопроса, поставленные в древности Пирроном и повторенные в несколько измененном виде Кантом: „Ученик Пиррона Тимон говорил, что желающий достигнуть счастия, должен разобраться в следующих трех вопросах: во-первых, из чего состоят вещи, во-вторых, какое отношение мы должны себе к ним усвоить, и, наконец, какую выгоду получат те, которые выполнят это" (Р. Рихтер. „История скептицизма, прим. 75-е). У Канта эти вопросы видоизменены в конце „Критики Чистого Разума" следующим образом:

Что я могу знать?

(Проблемы гносеологии или метафизики, а также психологии, логики, научной методологии, истории философии).

Что я должен делать?

(Проблемы аксиологии т. е. теории ценностей, этики, эстетики, педагогики, политики, экономики, права).

На что я могу надеяться?

(Проблема философии религии).

Жизнь мудреца есть история непрерывных и страстных исканий, направленных на эту единую и трехчленную проблему. Его изобретательность применена к расшифрованию мировой загадки. Вл. Соловьев уподобляет творческий путь философа медлительному, но непрестанному восхождению на горные вершины:

В тумане утреннем неверными шагами
Я шел к таинственным и чудным берегам.
Боролася заря с последними звездами,
Еще летали сны, и схваченная снами
Душа молилася неведомым богам.
В холодный белый день дорогой одинокой,
Как прежде, я иду к неведомой стране.
Рассеялся туман, и ясно видит око,
Как труден путь, и как еще далеко,
Далеко все, что грезилося мне.
И до полуночи неробкими шагами
Все буду я идти к заветным берегам,
Туда, где на горе, под новыми звездами,
Весь пламенеющий победными огнями
Меня дождется мой заветный храм.

Глава II.

Пробуждение призвания.

XIII.

Джэмс называет идиосинкразией интереса тот интерес, который обнаруживается у ребенка рано, и в котором проявляется его специфическая одаренность в известном направлении. Детские интересы часто имеют преходящий характер и бывают навеяны подражанием. Но одаренный ребенок часто бывает *ingenium praecox*, и его своеобразные творческие стремления уже проявляются в чем-нибудь, что впоследствии оказывается как раз соответствующим его назначению, его призванию. Классен рассказывает, что 10—11-летний Нибур уже написал историко-географическое описание Африки. „В 14 лет ребенок Нибур только и бредит манускриптами и вариантами, теперь он в восторге от рукописи Варрона, которую отец доставил ему из Королевской Библиотеки в Копенгагене. Он даже понял, как ее читать, и указал, в чем трудности многих мест“ (Классен: „Нибур“, 1894). 15-летний Максуэлль печатает математический мемуар в записках ученого общества. Идея написать „Историю цивилизации в Англии“ пришла Боклю „в смутной форме“, когда ему было всего

15 лет. Шахматист Морфи уже 13 лет дважды из трех раз победил на состязаниях знаменитого и опытного шахматиста Левенталя (см. статью „Chess“ в „Encyklopaedia Britannica“, IX издание). Об Остроградском его биограф Трипольский сообщает: „Еще в раннем детстве бойкий Миша выказывал редкую наблюдательность и *природную наклонность к измерению любой вещи или игрушки.* В кармане он всегда носил с собою шнурок с привязанным к нему камешком и при помощи этого снаряда измерял глубину каждого попадавшегося ему на глаза колодца или ямы. Перед ветряной или водяной мельницей он стоял по часу и более, наблюдая с далеко не детским любопытством за движением крыльев мельницы, падением воды с потоков, вращением колес, жерновов и т. п. Зная такую „слабость“ своего сына и не предвидя в нем великого математика, родители во время прогулок всячески заботились о том, чтобы он не заметил интересующих его предметов. Но от зоркого и наблюдательного Миши не ускользнет ни один колодец, ни одна мельница: с криком и слезами он приставал к родителям позволить ему „хоть на минуту“ остановиться, чтобы понаблюдать то или другое, измерить величину или глубину, и эти „минуты“, незаметные для сына, долго и скучно тянулись для родителей (см. „М. В. Остроградский“, 1902 г., стр. 47).

О Гельмгольце Дюбуа-Реймон сообщает следующее: „Мы знаем, что он, будучи учеником в Потсдаме (где он родился 31 августа 1831 г.), нередко во время чтения в классе Цицерона или Виргилия, наводивших на него скуку, вычислял под столом ход пучка лучей в телескопе и тогда уже нашел некоторые оптические теоремы, о которых ничего не упоминалось в учебниках, и которые сослужили ему службу впоследствии, при построении глазного зеркала“ (Г. фон Гельмгольц, Характеристика Дюбуа-Реймона, 1900, пер. под ред.-прив. доц. Б. П. Вейнберга, стр. 3). Биолог Эрнст Геккель уже в детстве обнаружил сильное влечение к изучению и эстетическому созерцанию природы. „Громадное двойное окно служило ему террариумом. С особенным усердием он собирал цветы... Будучи одинадцатилетним мальчиком, он целыми днями пропадал (в Бонне у дяди) во всевозможных закоулках тамошних окрестностей в надежде найти „Erica cinerea“, которая, как он слышал, водилась единственно в этой местности Германии“ (В. Бельше: „Эрнст Геккель“, 1910, стр. 23—24).

Но специалист, даже гениальный, односторонен. Гербарт когда-то выдвинул в педагогике идеал *уравновешенной множественности интересов,* причем он насчитывал шесть основных интересов: к фактическому знанию природы, к отвлеченному зна-

нию, к чужой душевной жизни, к политике, религии и эстетической стороне жизни. Такой идеал, разумеется, есть „бесконечно-отдаленный пункт", к которому возможно лишь слабое приближение. Равномерное развитие всех интересов и дарований невозможно уже потому, что между различными коренными психическими чертами существует известная *корреляция*, в силу которой резко выраженное свойство *а* исключает столь же резко выраженное развитие свойства *в*. Тем не менее, встречаются весьма разносторонне одаренные натуры, и *среди выдающихся философов их всего естественнее ожидать*. Философия не есть механическое суммирование различных сфер знания. Философская одаренность предполагает особенныя черты психического склада, но философия теснейшим образом связана с науками, служа для них *общим методом*, освещая их *предпосылки*, их *единство* и их конечную *цель*. Отсюда понятно, 1) что пробуждение философского дарования имеет в качестве *опорного пункта* у ребенка и подростка какую-нибудь *специальную область знания*; 2) что философы всегда бывают одарены *несколькими интересами*, и у величайших из них, каковы Платон, Демокрит, Аристотель, Кант, Лейбниц, Конт, Гегель, Спенсер, одаренность проявляется во всех областях знания, хотя и не в равномерной степени. Присмотримся к первым проявлениям одаренности у различных философов.

Религиозные вопросы по самой своей природе близко соприкасаются с философскими, и мы часто наблюдаем, что „вельми философская страсть" удивления перед загадкой бытия зарождается у будущего философа на религиозной почве. „*Марк Аврелий*, будучи 8 лет, был принят в школу жрецов Марса, он пел священные гимны и участвовал в религиозных процессиях... Двенадцати лет он уже был неофитом философии. Он усвоил суровые обычаи и нравы стоиков, он, так сказать, вступил в этот орден. Не смотря на свое хрупкое здоровье, он спал на голом полу и, лишь уступая настояниям и слезам матери, он согласился спать на кроватке, покрытой мехом". Впрочем, родители были склонны поддерживать в нем его детское увлечение стоической моралью" (см. Martha: „Les moralistes sous l'empire romain, 1886, 2-е изд., стр. 175). Это мы видим и у 11—14-летнего *Джьордано Бруно*, который в детстве увлекается богословием, логикой и диалектикой и в 15 лет поступает в монастырь доминиканцев. Наряду с богословским интересом, в нем с детства живет поэтическое чувство, вызываемое обстановкой „земного рая", каким являются окрестности Нолы к северо-западу от Везувия. В монастыре он с жадностью проглатывает тогдашнюю философскую лите-

ратуру. Особенно увлекают его элеаты, Эмпедокл, Платон, Аристотель, Плотин, Ал-Гацали, Аверроэс, Каббала, Ѳома Аквинский, Раймонд Луллий, Николай Кребс, Коперник. 18 лет он уже эмансипируется от многих догматов богословия—от учения о троичности лиц Божества, от учения о божественности Христа, об эвхаристии.

Столь же рано пробуждаются *эстетический и религиозный* интересы у *Шеллинга* *). До 15 лет он совершенно овладевает латинским языком, пишет стихотворения о происхождении языка, о величии Англии (по-латыни), сочиняет работу о божественном происхождении Библии, переводит на немецкий язык Марсельезу. В 16 лет он увлекается философией под влиянием учителя Рейхлина, читает Федера, Лейбница, Кларке, Ньютона, Шульце, Канта и, наконец, Фихте. *Шлейермахер* (род. в 1768 г.) в 12 лет увлекается древними языками и биографиями великих ученых. Ему приходит в голову, что вся древняя история и древние писатели „sei untergeschoben", ибо все, что он про нее знал, представлялось ему бессвязным и похожим на роман. Уже в 11 лет его начинают мучить религиозные вопросы. Он проводит бессонные ночи, ломая голову, как совместить всеблагость Божию с учением о вечных наказаниях (Куно Фишер: Шеллинг).

Гартманн, в котором мистические стремления так причудливо сочетаются с рассудочностью весьма разностороннего и бойкого писателя, в раннем детстве обнаруживал интерес к богословским проблемам. После же поступления в гимназию, в нем быстро пробудился чисто философский интерес: „Немецкие сочинения мало давали мне до сих пор лавров, ибо я был совершенно не в состоянии воодушевляться историческими или описательными темами. Но с того момента, как мне была предложена Юнгом тема, требующая рационального размышления и логического развития мысли, мои сочинения оказались лучшими и тем более превосходили все остальные, чем более тема имела философский характер". A. Drews: „E. v. Hartmanns Philos. System", 1906.

Этико-религиозная натура *Фихте* проявилась уже в раннем его детстве. Он обратил внимание на себя своего покровителя барона Мильтица уменьем передавать содержание церковной проповеди:

---

*) 13—14 лет он пишет „Geschichte des Klosters Bebenhausen", где, описывая красоты природы, он замечает: „Fürwahr, auch wilde Natur ist schön! Oft pries ich über diese wildschönen Örter Gott, den Schöpfer".

А вот образчик его латинских стихов:

„O! juvenis, demens, nescis secreta tacere.
Crede mihi, est magnus nosse tacere labor".

„Чем является для прирожденного художника первая картина, которую он видит в своей жизни, тем для Фихте была проповедь“... Маленький Фихте дословно и осмысленно воспроизводит слышанное“: „Это не просто дело сильной памяти, а дело живого, именно к этому предмету приуроченного, воображения“ (Куно Фишер“ „Ист. нов. философии“, т. V. „Фихте“, стр. 142-я, 1909 г.).

По собственным словам мистического философа *Якоби*, он с детства был мечтателем, фантастом, *мистиком*. Уже ребенком, вместо того, чтобы играть со сверстниками, он предпочитал беседы с одной пиэтистически настроенной служанкой в их семье. Уже мальчиком он делал серьезные попытки решить некоторые религиозные проблемы *)·

„Мы ленивы и нелюбопытны“, и немногим из русской публики, к сожалению, знакомо имя замечательного русского философа Африкана Александровича *Шпира*. Выросши, в Херсонской губернии в помещичьей семье, Шпир с раннего детства обнаружил влечение к природе, к созерцанию родных широких зеленеющих степей. Он пишет: „Не раз было доказано, что дети не обладают поэтическим чувством, я же готов скорее усомниться, доступно ли взрослому поэту поэтическое настроение ребенка, который не совсем скудоумен, когда вспомню, каким очарованием была полна для меня бедная сама по себо природа моей родины“. С 13 лет к эстетическому интересу присоединился религиозный; мальчик стал зачитываться проповедями одесского архиепископа Иннокентия, соблюдать посты, молитвы и усердно молиться. Позднее наступил кризис сомнений. См. биографию Шпира, приложенную к его сочинению: „Очерк критической философии“.

Наклонности к тонкому логическому анализу и комментаторству пробудились у *Соломона Маймона* очень рано первоначально на богословской почве, а значительно позднее—на философской. Его важнейшие труды являются своеобразной попыткой истолкования Канта. „Талмудическая ученость,—пишет Куно Фишер,—имеет три степени: первая состоит в переводе Талмуда, вторая—в его об'яснении, третья

*) В восьми или девятилетнем возрасте в его воображении уже сложилась странная интуиция вечности и бесконечного протяжения, от которых он не мог отделаться в течение всей жизни. „Это было странное, совершенно независимое от всяких религиозных понятий, представление бесконечной длительности, которое внезапно ясно осознавалось мною и с такою силою захватывало меня при моих размышлениях о вечности a parte ante, что я громко кричал, вскакивал и впадал в некоторого рода обморок. Мысль об уничтожении, которая всегда мне представлялась ужасной, и еще ужаснее и невыносимее представлялась мне идея вечного продолжения. Я мало-по-малу начал реже подпадать под ее влияние и уже думал, что совсем от нее отделался, как вдруг на 25 году жизни она снова возобновилась у меня“ (См. Zirngibl: „Jacobi's Leben“).

в диспутировании. Соломон достиг третьей ступени, когда ему было девять лет" („История новой философии", т. V, стр. 65). Точно также и у *Когена* комментаторские способности в области логики и метафизики, повидимому, проявились в раввинской школе, но у Соломона Маймона религиозный интерес не играет роли в философском творчестве, а у Когена особенно усиливается в последний период творчества.

У *Вл. Соловьева* и *С. Трубецкого* также заметно раннее пробуждение интереса к философии именно *в связи с религией*. Во всех приведенных случаях замечательно то, что религиозный интерес и впоследствии являлся в философских исканиях этих философов тем, что Бергсон называет aspiration fondamentale de la personne. Имена Соловьева, Трубецкого и Шлейермахера одинаково принадлежат и истории философии, и истории богословской мысли. В детских впечатлениях от благословенной природы у подножья Везувия зарождалось то чувство, которое вызвало у Бруно многоцветный и жизнерадостный пантеистический взгляд на мир. Меланхолический и бескрасочный пантеизм Спира, его несколько аскетическое „буддийское" миросозерцание навеяно монотонным степным пейзажем.

Для *Киркегоора* мощным толчком в его философском творчестве было слушание лекций Шеллинга, одна из них неожиданно открыла для него широкие горизонты, как для Мелебранша чтение сочинений Декарта. В 1841 г. Шеллинг начал свой лекции в Берлине, направленные против Гегеля. Киркегоор после одной из прослушанных им лекций пишет в дневнике: „Я весел, неописуемо весел, прослушавши вторую лекцию Шеллинга. Ведь, я достаточно долго созревал (gereift), и мысли мои достаточно долго созревали, когда же он произнес слово *действительность* („Verhältniss der Philosophie zur Wirklichkeit") тогда, как в Елисавете, взыгрался радостно во мне плод мысли моей. Я помню почти каждое слово, произнесенное им вслед за этим на лекции. Так вот где, может быть, кроется разгадка („Hier giebt's vielleicht Klarheit"). Это единое слово напомнило мне все мои философские страдания и муки". Геффдинг указывает, что при дальнейшем слушании лекций Шеллинга (Киркегоор не дослушал их до конца) это прояснение не удовлетворяло более датского философа (Шеллинг—ужаснейший болтун), и, тем не менее, импульс, сообщенный творчеству Киркегоора, был весьма значительным.

XIV.

Психолог и художник *Эрве де-Сен-Дени*, которому принадлежит идея умышленного развития *способности наблюдать, запоминать,*

записывать и зарисовывать сновидения, пишет, рассказывая о своей наклонности в раннем детстве срисовывать все, что попадется под руку: „Мне раз пришла в голову мысль зарисовать на память исключительный сон, который поразил меня. Получив занятные результаты, я вскоре обзавелся альбомом, в котором каждая зарисованная сцена или фигура сопровождались комментарием о тех обстоятельствах, которые предшествовали сновидению или следовали за ним". (См. Vaschide: „Le sommeil et les rêves", 1911, p. 138—139). Campbell Frazer, биограф шотландского философа *Томаса Рида* („Thomas Reid", 1898, p. 16—18), отмечает у него такое же раннее пробуждение наклонности к психологическому самонаблюдению (the disposition to the sober introspection). В пятнадцатилетнем возрасте, будучи студентом в Marishal College, знакомый лично с Беркли и уже заинтересованный философскими и психологическими проблемами, юный Рид, жестоко страдал от кошмаров, пробуждаясь нередко ночью в ужасе под впечатлением мучительных грез, от которых ему удалось отделаться следующим образом. „Я постоянно ложился спать, стараясь самым упорным образом *внушить себе на сон грядущий* мысль, что я никогда в жизни не подвергался никакой большой опасности, и что всякий испуг, переживаемый мною, есть лишь грёза. После многихъ тщетных попыток вспомнить об этом во сне, когда мне угрожала мнимая опасность, я, наконец, достиг желанной цели, и часто, скатываясь с обрыва в пропасть, я вспоминал, что, ведь, все это лишь сон, и храбро спрыгивал вниз. В результате обыкновенно оказывалось, что я немедленно пробуждался невозмутимо спокойным, что представлялось мне большим приобретением". Следствием этого было то, что Рид отделался от кошмаров и совершенно *потерял способность запоминать свои сны.*

Выдающийся психолог *Бэн*, у котораго есть ценный труд и по логике, в раннем детстве обнаруживал преимущественный интерес к математике и естественным наукам, причем многое из высшей математики и механики (отчасти „Principia" Ньютона) было усвоено им 16 лет. В этом возрасте братья Стюарты — очень развитые сверстники, уже читавшие Ридово „Inquiry" и узнавшие из нее об идеалистическом учении Беркли и Юма, предложили маленькому Бэну опровергнуть эту точку зрения или разрешить парадокс о нереальности внешнего мира каким-нибудь другим способом. „Я, разумеется, чувствовал себя совершенно беспомощным, но, быть может, это *направило мои помыслы в область наук о духе*" („Autobiography", 1904, p. 25). На 19-летнем возрасте в нем пробуждается будущий тонкий психолог. Его первое философское сочинение, написанное тогда,

представляло три опыта о „философском гении". „Насколько я помню, их писание вызвало во мне рой размышлений о философии интеллекта, и, вероятно, в них заключались начатки ассоциационизма (view of association), который имел для меня столько значения впоследствии... Я постоянно „высекал" новые мысли, казавшиеся тогда капитально важными, и во мне сложилась затем уже всю жизнь не покидавшая меня привычка непрестанного самонаблюдения с целью установить законы психической последовательности" (см. „Autobiography" by Alexander Bain, 1904, p. 49).

Вот черты из детства двух других выдающихся впоследствии *психологов*—Мэн-де-Бирана и Бенеке. *М. де-Биран* пишет: „Мне помнится что я уже с детства *удивлялся* чувству моего существования. Я уже как бы инстинктивно был склонен заглядывать в свое собственное нутро с целью узнать, как это я могу жить и быть „я" (être „moi"). В его дневнике встречается выражение se regarder passer. В 1814 г. он пишет: „Когда располагаешь недостаточным запасом жизненных сил или слабым чувством жизни, то чувствуешь большую наклонность к наблюдению внутренних феноменов—вот причина, сделавшая меня столь рано психологом". *Бенеке* развивался очень быстро и в раннем возрасте успешно изучал классиков, математику и писал стихи. В последнем классе Фридрих-Вердеревской гимназии он заведывал библиотекой и прочитал особенно много сочинений, в которых нашел с живыми чертами и соответствующее действительности описание образов духовного мира („Bilder der geistigen Welt") (см. Gramzow: „Fr. Benece").

Философы, которых привлекали в зрелом возрасте *естественные науки* и философия природы, являются часто с ранней юности экспериментаторами и наблюдателями природы. 15-летний Бэкон изобретает *световой телеграф*. Идея написать „Новый Орган" пришла Бэкону в голову, когда ему было 15 лет. Во время пребывания во Франции (15—18 лет) он придумал *шифр* для дипломатической переписки,—курьезная антитеза занятиям 8-летняго Лейбница, *дешифрирующего* латинского автора по картинкам. Как тут сказывается, наклонность к логическим проблемам двух корифеев *индуктивной* и *дедуктивной* логики!

Пристли, получивший духовное образование, уже 11 лет, занимался экспериментами, сажал пауков в бутылку и закупоривал ее, чтобы посмотреть, как они будут существовать без притока воздуха. *Локе,* по словам его биографа Вентчера, уже в 13 лет увлекся философской идеей панпсихизма, которая разработана в „Микрокосме". Знаменитый механик *Д'Аламбер* (см. о нем книгу Bertrand)

обнаружил в детстве живое критическое отношение к софистическому преподаванию картезианской физики плохим учителем и написал на его курс пародию под названием: „Антифизика“. Вот образчики из нее: „Возвещая дождь, барометр всегда поднимается. Доказательство: перед наступлением дождя воздух всегда бывает насыщен парами и, следовательно, более тяжел, что и заставляет барометр подниматься. Град должен выпадать, главным образом, зимой. Атмосфера зимою более холодная,—очевидно, в это время года капли дождя должны, замерзая, отвердевать при прохождении через атмосферу и т. д.“. Подобным же образом рано заинтересовавшийся естествознанием *Фехнер* пишет пародию на современную ему медицину („Schutzmittel für die Cholera“ и „Beweis, dass der Mond aus Iodine besteht“) и натурфилософию: „Vergleichende Anatomie der Engel“.

Спенсер в раннем детстве в деревне занимался энтомологией и рисованием с натуры. Вот что он пишет в „Автобиографии“, имея в виду возраст до 13 лет: „Мои познания о законах физических явлений и о самых явлениях отличались значительной ясностью: я довольно хорошо знал разные факты из области физики и химии. Я приобрел также путем непосредственных наблюдений и путем чтения некоторое знакомство с естественной историей, особенно с жизнью насекомых, но я вовсе не знал ботаники. Бессистемным чтением я приобрел кое-какие сведения по механике, медицине, анатомии и физиологии и довольно много сведений о различных частях света и их обитателях“.

У философов-*математиков* мы наблюдаем раннее пробуждение математических наклонностей. *Декарт*, поступивший в коллегию De-la-Flèche на восьмом году, остается там $5^1/_2$ лет, успешно изучает латинский и греческий язык, интересуется поэзией (преимущественно дидактической — басни), но главным образом он отдается запойному внеклассному чтению. По слабости здоровья ему разрешено оставаться в постели по утрам. При пробуждении он находит все свои силы подкрепленными и свои чувства освеженными ночным отдыхом и пользуется этим обстоятельством, чтобы размышлять. „Этот порядок обратился в привычку, которая легла в основу его манеры заниматься“. Центральное место в этих занятиях занимала математика, в которой он к 15 годам сделал столь значительные успехи, что опередил учителей коллегии. Идея „Всеобщей характеристики“ зародилась у *Лейбница* в детстве. „Необычайная моя судьба была причиной того, что я, еще будучи мальчиком, попал на эти мысли, которые, как это обыкновенно бывает с первыми склонностями, глубже всего запечатлелись навсегда в моем уме. Две вещи оказали мне чрезвы-

чайную услугу (хотя, вообще говоря, оне обоюдоостры и для многих вредны): во-первых, то, что я был самоучкой, а, во-вторых, то, что в каждой науке, едва приступив к ней и часто не вполне понимая общеизвестное, я искал нового". „Начав заниматься этими предметами (логикой и философией) с большим усердием, я по необходимости напал на эту достойную удивления мысль, что можно найти известный алфавит мыслей, и что, комбинируя буквы этого алфавита и анализируя составленные из них слова, можно, как все вывести, так и все обсудить. Когда эта мысль зародилась в моей голове, я возликовал, но, разумеется, это была радость ребяческая, потому что тогда я еще не мог постигнуть всей громадности дела. Но позже, чем больше расширялись мои познания, тем тверже становилось мое решение преследовать столь великую цель" (Куно-Фишер: „Лейбниц", стр. 39). Замечательно, что дар дешифрирования, столь характерный для будущаго основателя логистики, проявился у Лейбница в очень раннем возрасте. Восьми лет он беспорядочно читает книги самого разнообразного содержания в обширной библиотеке покойного отца и, между прочим, наталкивается на историю Ливия, которую уразуметь не в силах. В книге были политипажи с надписями, об'яснявшими значение картинок. При помощи этих картинок он разгадывал смысл подписанных под ними слов, а чего не был в состоянии понять, то пропускал". Таким образом он прочел всю книгу, а когда кончил, то начал снова и снова, до полного уразумения.

Паскаль, как известно, 13 лет самостоятельно открыл XXXII-е предложение Эвклида, а затем в ранней юности сделал открытия в теории сочетаний, в учении о конических сечениях.

Дюринг (автор впоследствии „Критической истории механики" и „De spatio, tempore, causalitate et analysis infinitesimalis logica") в 11 лет увлекается алгеброй и анализом. Ярый детерминист в теоретической философии и индивидуалист в практической, он еще в гимназии увлекается стихотворением, прославляющим *необходимость*, и пишет сочинение о Сократе, доказывая что Сократ обрек себя на смерть не для того, чтобы подчиниться филистерским законам, а чтобы дать почувствовать афинянам совершенную над ним несправедливость и погибнуть мучеником идеи. Дюринг с юности преклоняется перед Individuale Souverainität (см. „Leben, Sachen und Feinde"—его автобиография).

Фриз—философ, интересы которого впоследствии разделились между математическим естествознанием, гносеологией и мистической „философией веры", в 13 лет проявляет увлечение математикой, которой самостоятельно занимается, выходя далеко за пределы

школьного курса. „На одном уроке геометрии я выразил радость моему учителю Hueffel'ю по поводу твердости и ясности математических доказательств; он заметил: „А ведь точно также можно доказать и бытие Божие". „Как же оно доказывается"?—спросил я с живейшим интересом. Он ответил: „Все должно иметь для себя достаточное основание, следовательно, и для мирового целого должно быть таковое—эта высшая основа мира и есть Бог". Я промолчал, но тотчас же подумал: если все должно иметь основание, то и Бог также должен иметь основание, а если Бог может не иметь основания для себя, то почему же и мир также и образующия его вещи? Это была первая философская дискуссия, которая меня задела за живое (welche mich traf). Фриз тогда же пробовал читать логику и нашел ее смехотворной. „Федон" Платона показался ему в обоснованиях ложным и незначительным. „Федон" же Мендельсона понравился. Тогда же он читал письма Эйлера к немецкой принцессе, Монадологию Лейбница, диалоги Цицерона. Все это ему мало понравилось. Весьма любопытно, что „философ веры" уже в детском возрасте искал рационального доказательства реальности внешнего мира. „Я дошел до одной собственной мысли: нельзя ли геометрически доказать об'ективную реальность наших представлений, поскольку мы измеряя можем необходимо определить положение всякого данного предмета. Однако, всячески размышляя далее об этом, я ясно понял, что мы при этом лишь фиксируем наши представления о предметах, а не самое бытие последних, независимо от наших представлений" (см. о Фризе книгу Henke).

Стэнлей Джевонс уже 15 лет обнаруживает совершенно исключительныя способности к математическим наукам и необыкновенный дар изобретательности.

XV.

Философы, тяготевшие к изучению истории и политики,—Гоббес, Юм, Гегель, Бентам, также увлекаются этими предметами в юности. 13—14 летний *Гоббес*, хоть порой и увлекается играми, но больше сидит за книгой в одиночестве и задумчивости. После перевода „Медеи" Эврипида латинскими ямбами, он принимается за перевод Θукидида, и в этом сказывается будущий автор „Левиафана".

Юм, зачитываясь историками, философами и моралистами, пишет (14 лет) своему другу Рамсею: „Совершенный мудрец, с боя берущий фортуну, неизмеримо выше, нежели законный супруг (husbandman), который спит рядом с нею. В самом деле, я постиг это часто-

ральное и сатурническое счастье в значительной мере именно теперь. Я живу, как король, большею частью наедине с самим собою, не предаваясь ни волнениям, ни деятельности,—molles somnos. Тем не менее, я предвижу, что на такое состояние нельзя рассчитывать в будущем. Мой духовный мир еще не защищен в достаточной степени философией от ударов судьбы. Великия и возвышенные думы надо искать в занятиях, и мы научимся смотреть свысока на житейские случайности событий только таким путем. Позволь мне говорить тоном философа, я много размышляю о философии и способен гововить на эту тему весь день".

О *Милле,* интересы которого в зрелом возрасте разделялись между *логикой и политической экономией,* мы знаем из его удивительной автобиографии, какую массу преимущественно историко-филологических знаний приобрел он в детстве. Бэн приводит одно письмо Милля от 1819 г., когда ему было 13 лет. Вот отрывок из него: „В этом саду я читаю диалоги Платона „Горгиас" и „Протагор" и его „Государство", из которых я составил конспект... В прошлом году я стал заниматься логикой... Теперь я занимаюсь политической экономией" (20 июля 1819 г.). См. A. Bain.: „J. St. Mill", 1882, p. 4.

Бентам в детстве искал такую систему морали, которая могла бы его удовлетворить. Раз ему случайно попалась в руки книга Пристли, где он нашел курсивом написанную формулу: „Наибольшее счастье наибольшего числа людей". „Прочитавши это, я преисполнился живейшей радостью, подобно Архимеду, закричавшему „Εὑρηκα" при открытии основного закона гидростатики". 12 лет он уже читал Гельвеция. В 13 лет возмущался, читая Цицерона, который утверждает, что боль—благо. У Гельвеция он нашел ответ на занимавший его вопрос, что такое гений (Gigno—изобретатель). В чем же я изобретатель?—задал он себе вопрос, и ответил сам себе дрожащим голосом: „В законодательстве".

Будущий создатель истории философии *Гегель* подошел к философским интересам со стороны древней истории и философии. В качестве тем на риторические упражнения Гегелю были заданы три речи по-латыни, которые он и произнес: в 1785 г. 30 мая (разговор между тремя лицами—Антонием, Октавием и Лепидом); 2-ая речь 16 августа 1787 г. трактовала о религии древних греков и римлян; третья (7 августа 1788 г.) была посвящена некоторым характерным отличиям древних поэтов от современных. Чтобы распознать эти отличия, нужно, согласно замечанию Куно Фишера, *соединение исторического и философского мышления,* что обнаружило в

ученике весьма редкую и многообещающую способность и дало повод учителю сделать такую оценку: „Felix futurum omen“ (см. Куно Фишер: „История новой философии“, т. VIII—Гегель, стр. 6).

Точно также и *Виктор Кузен*, выдающийся впоследствии историк древней философии, в 20 лет уже был профессором греческого языка. Влечение к философии он получил на лекциях Ларомигиэра, причем он помнит день, когда он остановился на философском призвании („Ce jour décida ma vie“). (См. книгу P. Janet: „V. Cousin“).

Знаменитый впоследствии педагог *Гербарт*, познакомившись 16 лет с „Основоположениями метафизики нравов“ Канта, заявлял впоследствии, что никогда не забудет того впечатления, которое произвело на него отрицательное отношение Канта к эвдемонизму.

Гениальный философский сатирик древности—*Лукиан* рассказывает следующее по поводу ранняго пробуждения в нем литературно-философского призвания. Отец отдал его в детстве в обучение дяде скульптору. Обрабатывая резцом мраморную доску, ребенок разбил ее, был сурово наказан дядей и бежал от него избитый домой к родителям. В якобы безхитростном рассказе о своих злоключениях он все же, как замечает Марта, со „свойственным ему впоследствии *простодушным лукавством* не *преминул упомянуть о том*, что дядя-де, очевидно, завидует его дарованиям и вымещает эту зависть на нем колотушками. Разсказ возымел действие на родителей, и ребенок был оставлен дома. В туже ночь он видел сон — ему предстали две фигуры—поэзия и наука, каждая старалась увлечь его в свою сторону, и он вскоре склонился к деятельности оратора и софиста (Martha, „Les moralistes sous l'empire romain“, 1886, p. 339).

Юность *Платона и Ницше*, в философии которых *эстетический* элемент играет такую важную роль, протекла в сфере интенсивных художественных интересов и попыток творчества—у Платона в области трагедии, у Ницше—в области музыки. Существует предание, что Платон до обращения в сократовскую веру написал *тетралогию* для состязания Διονυσίαχ, что роли между актерами уже были распределены, и все это вдруг было брошено. Ницше 13 лет пишет свою автобиографию в 1854—55 г. (10—11 лет)—первые стихи, в крымскую войну он сочинил 17 игр, из них 14—разные способы взятия Севастополя. Одновременно с этим идет успешное усвоение музыки, а позднее и композиции: „Гимн Жизни“ для хора с оркестром, а в 1887 г. он сочиняет сам себе „Реквием“ (см. Moebius: „Fr. Nietzsche“).

Английский эстетик *Берке* (Burke), автор книги „Inquiry into the origin of our ideas on the Sublime and Beautiful“ (1756), привлекшей

внимание Лессинга и Канта, книги, написанной им в девятнадцатилетнем возрасте, пишет о себе следующее: „Сначала я был сильно увлечен натуральной философией, которая всецело поглощала мое внимание, когда мне бы надо было заниматься логикой. Я называю это увлечение furor mathematicus. Но я вскоре отделался от нея, как только до нея дошла очередь в Колледже, подобно тому, как об'евшиеся люди извергают обратно все, чем был заполнен их желудок. Тогда я снова обратился к логике и метафизике. Этим делом я занимался довольно долго и с большим удовольствием, это был мой furor logicus, болезнь, часто встречающаяся в дни невежества и весьма редкая в просвещенное время. Затем воспоследовал furor historicus, преобладавший некоторое время, но теперь окончательно исчезнувший и уступивший место „furori poetico“ (Morley, „Burke“, 1907, p. 7—8).

Шафтсбери (лорд Ашли) в 11 лет уже владел латинским и греческим языками. Немного позднее проявился эстетизм его классической культуры: быть может, не найдется другого человека, который так бы претворял древних в свою плоть и кровь. В центре эстетического панпсихизма у Шафтсбери стоит идея:

All are but part of one stupendous Whole
Whose body nature is and God the soul,

т. е. „всякое существо входит, как частица, в одно грандиозное целое, коего телом является природа, душою—Богъ“. См. книгу Fowler'a: „Shaftsbery and Hutcheson“.

Гюйо в 15 лет помогает больному глазами Фуйллье в его работе о философии Платона, а 17 лет, окончив лицей, пишет талантливую работу о философии Эпиктета, которого переводит на французский язык. („L'irréligion de l'avenir“, предисловие Альфреда Фуйллье).

Приведенные нами многочисленные примеры можно ради наглядности представить в одной таблице, в которой я отмечу:

1) многообразие интересов у философов, имея в виду их важнейшие сочинения. Я буду придерживаться следующего обозначения:

м—математический интерес.
е—естественно-исторический.
э—эстетический.
р—религиозный.
н—этический.
и—исторический.

ю—правовой.
ф—филологический.
п—психологический.

2) Я обозначу приблизительно возраст, к которому относится пробуждение главнейшего из этих интересов.

Декарт	м (15), е, п, р.
Паскаль	м (10), е, н, р.
Д'Аламбер	м (15), е.
Лейбниц	м (8), е, п, и, р, ю, ф.
Дюринг	м (11), е, ю, п, м, э.
Пуанкарэ	м (12), е, п.
Бэкон	е (13—15), н, и, э.
Пристли	е (11), м, н.
Кант	е (16), м, н, ю, п, э. р.
Спенсер	е (13), м, п, и, ю, э.
Лоце	е (13), м, э, р. п.
Бенеке	п (15), е, н. р.
Бэн	п (18), м, е, ф.
Эрве	п (15), э.
Мэн-де-Биран	п (15), э, н.
Рид	п (15), э, и, е.
Шеллинг	э (15), е, и, ф, р.
Ницше	э (13), п, ф, и.
Бруно	э (15), е, м.
Платон	э (15?), м, н, р, е, п, ф.
Шафтсбери	э (15), ф, н.
Берке	э (15), е, м, н.
Гюйо	э (15), ф, н, р, п.
Лукиан	э (15), ф, п.
Шлейермахер	р (11), ф, п, э.
Шпир	р (18), е, н, п.
Соловьев	р (12), н, п, ф, и, ю. э.
Юм	и (14), п, е, н.
Милль	и (12), п, ю.
Гоббес	и (14), е, п, ю, н.
Гегель	и (17), ф, э, р, е, м.
Кузен	и (18), ф, п, э, н.
Гербарт	н (16), п, и, е, э.
Марк-Аврелий	н (12), п, р.
Бентам	н (13), п, ю.

XVI.

Детская изобретательность проявляется у всякого ребенка, по крайней мере, нормального ребенка, в его играх задолго еще до пробуждения призвания, соответствующей *сильным* сторонам его индивидуальности, разумеется, в самой элементарной и примитивной форме. Однако, несмотря на огромное расстояние, отделяющее эти робкие опыты от высших форм изобретательности взрослых, особенно в сфере научного и философского мышления, *механизм изобретения* все же обнаруживает родственные черты.

Весьма любопытно, что о детских изобретениях впервые заговорил давным-давно Лейбниц: „Даже в упражнениях детей найдутся такие вещи, которые остановят на себе внимание величайшего математика. Повидимому, *намагниченной стрелкой* мы обязаны их развлечениям, ибо кому была бы охота обращать внимание на то, как она вертится! Установлено также, что мы обязаны детям *воздушным аркебузом*, который они мастерят из простой трубочки гусиного пера, которым они протыкали с обеих сторон ломтики яблока, а затем насильственно сближали между собою обе образовавшиеся яблочные пробочки и сжатием воздуха выталкивали одну из них, задолго до того, как один искусный рабочий (Норманн) вздумал подражать им en grand“ (см. изд. Erdmann, 1840, стр. 175: „Discours touchant la méthode de la certitude et de l'art d'inventer“).

Лейбниц, однако, не дает психологического анализа детской изобретательности. Таковой мы находим у современных психологов.

Жан Поль Рихтер приводит примеры изобретенных детьми *изречений* (возраст 6—7 лет): „Каждая ночь поражает нас ударом, днем мы выздоравливаем. Когда пульс бьется быстро—бываешь болен, когда медленно—здоров; так и облака: когда быстро плывут—к дурной погоде, когда медленно—к хорошей. Самые глупые, большею частью любят наряды, так и с насекомыми—они самые глупые и пестрые зверьки“. В новейшее время собран большой матерьял по детскому творчеству в области *рисования*. Гораздо менее сделано по вопросу о детском творчестве в области *языка*.

Royce в статье: „Psychology of invention“ („Psychological Review“ 1898) прежде всего указывает на то, что в первоначальной подражательной стадии процесса приспособления ребенка к окружающей среде, когда у него складываются *привычки*, возможно *индивидуальное изменение привычки*—независимая вариация в интеллектуальной привычке. Происхождение способности к изобретению связано биологически с происхождением изменений в привычке. Спрашивается, при каких же условиях

замечается тенденция к изменению привычки и к изобретению? Опыт „пластичен", привычки могут быть изменяемы в самых разнообразных направлениях. Можно, например, научиться писать ногой. Положим, привычка A связана с обстоятельством, при котором она обычно проявляется, B, но, если вместо обстоятельства B дано некоторое обстоятельство p, то я реагирую измененным образом, скажем, q, которое стоит к p в таком отношении, как B к A. Форма отношений сохраняется, но содержание изменяется (этот процесс Стэут называет *relative suggestion*). Ребенок производит ряд пробований (try, try, try again), причем благодаря руководящей роли сознания происходит сознательное уточнение. Благоприятная случайность может содействовать удачной индивидуализации привычки, но отнюдь нельзя взваливать здесь все на случайность. Кроме благоприятной наследственности, имеет значение *поощрение, общественная поддержка* индивидуальной инициативе. Дети, воспитывающиеся в закрытых учебных заведениях, где подавляется индивидуальная инициатива, проявляют меньшую изобретательность, чем дети, растущие на свободе, например, в деревне. По мнению Ройса, в процессе изобретения, нужно отметить контраст с рутиной; затем на почве этих контрастных действий намечается в известном направлении смутный идеал, определяющийся точнее во время работы, а затем контраст превращается в углубленную форму сходства: ребенок проявляет свое искусство (skill) путем сведения контраста к некой *углубленной форме сходства*. Во главе „Творческая мысль" мы увидим, какое значение имеет *чувство аналогии*, предвосхищающее это вскрытие *углубленных сходств*. В этом смысле пишет Вольф: „Facultatem *observandi rerum similitudines* ingenium apellamus" (Psychologia empirica, § 476). Такой мотив привел, например, к философии Платона, или к математическим концептам *нуля* и *отрицательных величин*. Ройс пробовал воссоздать этот процесс в его примитивной форме в психологической лаборатории, проделывая ряд опытов в таком роде:

1) Нарисовать на десяти карточках нечто из прямых и кривых „ни на что не похожее" и не похожее одно на другое, бросая карточку в сторону, не стирая, делать каждый раз все единым движением, как можно скорее, 10 рисунков в 2 минуты.

2) Надо после показывания 10 карточек с нарисованным рисовать непохожее—„Geist der stets verneint".

3) Надо сравнить оригинал и позднейшее и нарисовать еще непохожее ни на то, ни на другое.

Болдвин в книге: „Ethical and social interpretation" „отмечает также *ряд пробований*, подражательных воспроизведений, но с взвестными

уклонениями от оригинала, как исходный пункт для изобретательности, а также наряду с *личным* фактором указывает и на *социальный*: изобретение удовлетворяет ребенка, когда он убеждается, что оно годно для других, одобряемо ими. Он приводит следующий пример. Девочка начинает строить из кирпичиков церковь, затем к фундаменту *A* присоединяет линию *B*, потом *C*. „Что ты делаешь? Я никогда не учил тебя строить церковь с двумя поперечными линиями". „О, нет, я делаю животное с головой, хвостом и четырьмя ногами". Ребенок зовет всех домашних в комнату, чтобы показать свое изобретение.

Рассмотрев пробуждение призвания у философов, мы должны: 1) прежде всего отметить, что у большинства из них замечается *indefinit praecox*,—первые попытки творчества относятся в среднем к 13—15 годам. 2) Их интересы всегда *многообразны*—не замечается исключительно преобладания только одного интереса. 3) Главнейший из их интересов как раз соответствует наиболее сильной стороне в будущем философском творчестве. 4) Эти интересы нуждаются в поддержке со стороны общества в социальном признании, что было отмечено нами в предыдущей главе.

Раннее пробужденіе призвания у одаренной натуры может быть задержано неблагоприятными условиями развития или не быть подмеченнымъ окружающими, но, вобще говоря, оно очень часто замечается. „Закон ускоренной деятельности,—по словам Чемберлэна („Дитя", т. I, стр. 55), присущ детскому возрасту и даровитым натурам". Он напоминает по этому слова Шопенгауэра: „Каждое дитя до известной степени гений, и каждый гений до некоторой степени дитя". Он приводит статистические таблицы по данному вопросу, составленные Дональдсоном и другими (кстати сказать, составленные довольно топорным способом), и замечает: „Музыкальный талант созревает настолько рано, что лишь в пяти случаях из ста было основание предполагать, отсутствие заметных проявлений способности в детстве; из живописцев, ваятелей и зодчих по крайней мере три четверти несомненно проявили талант до 15 лет; тоже можно сказать о трех из каждых четырех поэтов и приблизительно тоже относительно романистов, $^5/_6$ ученых, историков и критиков и $^2/_3$ *философов* можно с уверенностью предсказать раннюю зрелость в детстве". (Ib. 61—62 стр.). Все эти цифры далеко не точны, благодаря *недостаточно широкой базе для подсчета*, но показания американских антропологов и психологов в общем *вполне совпадают* с результатами, полученными мною. Селли, как указывает Чемберлэн, в статье: „Гений и ранняя зрелость", устанавливает следующее положение: „ско-

роспелость гения замечается в раннем обнаружении себя", „но раннее проявление гениальности вполне совместимо с удлиненным и даже поздним развитием". Это положение, повидимому, подтверждается и в области философии, например, в применении к Платону, Аристотелю, Декарту, Лейбницу, Канту, Гегелю и Спенсеру. Наши великие писатели неоднократно описывали эти первые порывы творческого духа в ребенке, это радостное предвосхищение каких-то великих прекрасных, смутно чуемых возможностей. У Пушкина, Толстого и Достоевского отмечено это расширение духовного горизонта, пробужденне творческого Эроса, прилив внутренних молодых сил, вера в свою „звезду". Напомню Пушкинские стихи: „В начале жизни школу помню я"; замечания Толстого о зачатках творчества у крестьянских детей; и следующие слова Достоевского в „Неточке Незваной"*): „Бывают такие минуты, когда все умственные и душевные силы, болезненно напрягаясь, как бы вдруг вспыхнут ярким пламенем сознания, и в это мгновенье что-то пророческое снится потрясенной душе, как бы томящейся предчувствием будущего, предвкушающей его. И так хочется жить, так просится жить весь ваш состав и, воспламеняясь самой горячей, самой слепой надеждой, сердце как будто вызывает будущее, со всей его тайной, со всей неизвестностью, хотя с бурями, с грозами, но только бы с жизнью".

Глава III.

Кризис сомнений.

XVII.

Муки сомнения — одно из самых тажелых состояний человеческого духа. Это состояние знакомо почти всякому. Оно может иметь своим объектом самые разнообразные предметы, как самого конкретного, так и самого абстрактного характера. Сомнение есть состояние мучительного колебания нашей мысли между утверждением и отрицанием, касающимися подлинности какого-нибудь факта, или истинности какого-нибудь отношения между мыслями. Факт, являющийся объектом сомнения, может быть физического или психического порядка, истинность отношения между мыслями может касаться жи-

*) Сочинения, 4-е изд., ч. II-я, стр. 177—178.

тейской, научной или эстетической области, но везде характерным является *колебание* нашего сознания между двумя (или несколькими) возможностями, которое сопровождается болезненно неприятным чувственным тоном. Нередко высказывалась мысль, будто философские сомнения, которыя переживаются некоторыми скептиками, проповедующими невозможность достоверного познания, лишены этого трагического оттенка. В 1909 году французский психиатр Солльe в книге: *„Le Doute“* категорически высказывал эту мысль, выражая уверенность в спокойном академическом характере философских сомнений, в противоположность драматическому оттенку серьезных сомнений не только у лиц, страдающих болезненными формами сомнения, но и у нормальных сомневающихся. Анализируя кризис сомнений в процессе изобретения, мы покажем, что подобный взгляд совершенно ложен, и что именно в области философии кроется настоящая *трагедия сомнения*.

„Сомневающийся“ и „скептик“ не одно и тоже. У первого объекты сомнения конкретного характера, у второго — абстрактного; один сомневается в своих успехах в жизни, в верности своей любовницы, в точности такого-то воспоминания; другой — в основах познания, в реальности материи, „чужого Я“, Бога, в возможности общеобязательной морали, в ценности красоты в искусстве и т. п. Таким образом, скептицизм касается наиобщих предпосылок нашего знания и нашей деятельности. Он подвергает сомнению самую возможность философии, если под задачей философии понимать прежде всего *стремление привести человеческое знание к стройному единству, — свободному от внутренних противоречий и согласующемуся с данными мира опыта*. Было бы большим заблуждением сказать, что люди, которые „миры продумали“, ища решения этих проблем, не знали мук сомнения, но что их знает любой обыватель, озабоченный узким кругом своих личных интересов. Безспорно, могут быть случаи, когда скептик не есть сомневающийся, т. е. теоретик скептицизма может не страдать сомнениями. Это мыслимо в трех случаях: 1) При скептицизме *дилеттантов*, которые забавляются философским скептицизмом от нечего делать—это представители бойкой; „Kaminphilosophie“. 2) Есть в истории философии такие *эрудиты*, которые, изучая противоречивыя мнения различных философов, в конце концов увлекаются *спортом* искания противоречий в человеческих мнениях. Но здесь мы имеем перед собой уже не философа-творца, но комментатора, экзегета, который, действительно, может быть весьма далек от мук сомнения. (Об этих двух видах сомневающихся см. „Законы мышления и формы познания“ 1906 г. стр. 202). 3) Наконец,

не надо забывать, что сомнения есть не только эмоциальное состояние, но и познавательное. В основе всякого сомнения лежит вопрос, *проблема*, и можно не только страдать сомнением, но и *применять его, как метод*. Этим издавна пользуются математики в виде так называемого reductio ad absurdum. Вот два треугольника, их основания и углы при основании соответственно равны, равны-ли треугольники? Усомнимся в том, что они равны. Тогда, налагая один на другой так, чтобы основания совпали и углы совпали сторонами, поставим вопрос о том, совпадут ли вершины. Тут могут быть три возможности: треугольники совпадут, или вершина первого упадет внутри второго; или вне второго; но последние возможности тотчас же отпадают, и мы приходим к заключению, что треугольники равны. Таково *методическое сомнение*, которое часто применяется философами для твердой установки истины. Таким именно путем Декарт установил свое „Cogito, ergo sum". Разумеется, в подобном случае не может быть речи о муках сомнения, ибо здесь мы имеем дело уже с решенною проблемою и только в способе ее изложения философ намеренно вводит элемент сомнения, чтобы тем победоноснее на глазах читателя его устранить. Но за вычетом упомянутых случаев мы найдем следы глубоких переживаний сомнения не только у философов скептиков, но и вообще у большинства крупных мыслителей. Раскрытие этих душевных перипетий однако чрезвычайно трудно. Дело в том, что скептицизм, возникши однажды в древности, отлился в известное миросозерцание, которое создало вслед за собой *непрерывность литературно-философской традиции*. Главные принципы скептической философии через Цицерона, через Секста Эмпирика передавались из поколения в поколение. Августин, Монтень, Паскаль, Бэйль, Юм, Ницше образуют линию непрерывного наследования этих начал, и часто бывает трудно определить, что в мировоззрении после-Пирроновского скептицизма есть *подлинно пережитого*, и что представляет лишь новую *вариацию старой темы*. Отсюда и в чувствовании философа может быть подмечен налет сопереживаний скорее *эстетического*, чем взаправдашнего характера. Особенно заметно это, как мы увидим ниже у Монтеня, для которого скептицизм, „мягкая подушка", molle oreiller. Другое обстоятельство, затрудняющее нашу задачу, это недостоверность и неполнота биографического материала. О древних скептиках, их внутреннем мире, мы почти ничего не знаем. В новой философии мы имеем более богатые биографические и автобиографические данные, но и здесь возможны ошибки. Казалось-бы, автобиография — самый надежный в данном случае источник, но мы увидим на примере блаженного Августина, как нередко спорны пока-

зания философа о самом себе, о своих внутренних исканиях, особенно если факты, излагаемые в автобиографии, имели место много лет раньше ее написания.

XVIII.

Какими критериями *можно выделить* в истории философии *скептиков* от представителей других школ? Вопрос, казалось-бы праздный, ибо ответ — самоочевиден: тот, кто утверждает, что мы не можем с уверенностью установить ни одной истины, и что мнения, друг другу противоречащие, равно вероятны, и есть скептик. Но дело-то в том, что история человеческой мысли *не дает нам примера абсолютного скептицизма,* без каких-нибудь *смягчающих* обстоятельств. Скажут-ли, что Пирронн был абсолютным скептиком — однако и Пиррон признавал некоторые знания, полезные для жизни, за ценные, следовательно, и он не проводил скептицизма до конца. Абсолютный скептицизм предполагал бы полное воздержание от высказываний и от поступков, т.е. смерть. Поэтому, мы наблюдаем у знаменитых скептиков наличность известных противовесов теоретическому сомнению: или они допускают *вероятное* знание, полезное для *житейского* обихода, хотя и не имеющее никакой научной ценности; или они в религиозной *вере* находят выход из неразрешимых противоречий научной мысли; или они опираются на *традицию,* на обычаи предков в своем поведении; или, разочарованные в могуществе разума, они бросаются в объятия *мистики,* т. е. прислушиваются к голосу „сверхразумных" откровений чувства и здесь находят „тихую пристань" после бурных сомнений в области научных исканий. Так как и сомнение, и вера, и знание находятся в известной дозе у всех философов, то разграничение между скептиком и нескептиком сводится к перевесу скептического элемента над догматическим. Мало того, вера некритическая, слепая, конвульсивная, *характерна именно для скептиков.* Вот почему нам представляются заведомо бесплодными споры о том, был ли Паскаль скептиком или нет,—спор, одно время сильно занимавший французских историков философии. Раз абсолютный скептик есть *фикция,* то, понятно, легко доказать, что Паскаль не был скептиком, но то-же легко проделать и с остальными мыслителями, которым приписывается такое имя. Психология скептика, кроме наличности упомянутых мучительных колебаний, определяется совокупностью психических признаков, из которых важнейшими, по моему, являются следующие:

I. *Стремление к разнообразию в философском познании,* тенденция *концентрировать внимание на различном, индивидуальном, текучем,*

изменчивым и, наоборот, неспособность концентрировать внимание на постоянном, устойчивом универсальном, единообразном.

II. *Наклонность к сближению реального и нереального,* сна и действительности, изменения в „чувстве реального" в смысле его ослабления по отношению к реальному и усиления по отношению к невзаправдашнему.

III. Ненасытная потребность *свести к еще более очевидному то, что для других самоочевидно,* то, что Лейбниц назвал superrogativum.

IV. *Конвульсивная приверженность слепой вере, обычаям и традиции.*

V. Иногда *парадоксы воли* в виде почти одновременного влечения и отвращения в отношении к тому же объекту. Эти черты читатель найдет в приводимой ниже характеристике кризисов сомнения у различных философов.

В развитии философских сомнений можно отметить три периода. Первоначально сомнение отсутствует, затем наступает момент его зарождения. Прежняя точка зрения на мир оказывается неудовлетворяющей, сначала сомнение может касаться какого нибудь частного вопроса, но мало-по-малу оно, как малая искра, разгорается в пожар, охватывающий все. Затем наступает перелом в этом кризисе— открывается внезапно путь к преодолению мук сомнения или в виде научного опровержения, или в виде акта веры:

С души, как бремя скатится,
Сомненье далеко,
И *верится,* и плачется,
И так легко, легко...

Весьма любопытно, что этот переворот, даже момент озарения, напоминающий процесс религиозного обращения, нередко остается в памяти философа. За таким переломом уже наступает уверенная разработка проблемы познания в новом направлении. Здесь мы имеем дело с тем циклом психофизических процессов, которые Авенариус, в своей „Критике ч. опыта", § 805, назвал *проблематизацией* и *депроблематизацией.*

Подобный процесс можно наблюдать I) *в обыденной жизни.* Нас начинает мучить сомнение по поводу какого-нибудь *интересующего нас обстоятельства,* и вдруг догадка озаряет нас, и сомнение сменяется уверенностью. Энгельмейер в книге „Теория творчества" дает следующую иллюстрацию этому явлению. Красавица Эболи (в „Дон-Карлосе" Шиллера) мучится сомнениями, кто владеет сердцем Карлоса — и вдруг догадка молнией озаряет ее душу: любимый ею Карлос любит именно ее, свою мачеху, но старается

подавить в себе безумную страсть. II) *В искусстве.* Художник Михайлов никак не может создать в воображении подходящий для своей картины образ гневающагося человека. Вдруг ему попадается один из многочисленных его старых набросков гневающагося, который, как и другие, не удовлетворял его, но теперь стеариновое пятно на брошенном в корзину рисунке, внезапно подсказывает ему нужныя изменения экспрессии — и долго не вытанцовывавшаяся задача решена (этот пример из „Анны Карениной" также имеется у Энгельмейера). III) *В науке.* Ученые нередко отмечают в своих воспоминаниях момент, когда долго не удававшаяся задача оказывалась в один прекрасный день, благодаря внезапной счастливой *интуиции*, решенной. (Этой творческой интуиции посвящена в настоящем исследовании IV-я глава II-го тома).

Есть возраст в жизни человека, когда глубокие душевные перевороты особенно часто имеют место. Это период юности, период „бури и натиска", эпоха „опрокидывания Монбланов и Казбеков", по выражению Писарева. В эту эпоху происходит глубокий перелом между старыми и новыми верованиями. Быстрое завершение физического развития, ряд новых неведомых чувств, с одной стороны, старые наивные привычки мысли—с другой, все это создает ту неуравновешенность, которая нередко замечается у подростков, и, которая так гениально описана у Достоевского в „Неточке Незвановой" и „Подростке". В последнем произведении великий психолог особенно ярко обрисовывает колебания нравственного чувства у подростка. С одной стороны, загрязненное воображение подталкивает его на грязные проделки, с другой, в нем зарождаются порывы героизма и великодушия, вместе с новыми чувствами расширяется круг социальных симпатий, возникают эмоции, направленные на всечеловеческое, на сверхличное. Старбек („Psychology of religion", 1999) объясняет перелом душевной жизни после кризиса сомнений следующим образом: если мы обозначим физиологические процессы, сответствующие новым верованиям через AB, соответствующие старым верованиям через BC, то борьба между противодействующими силами старым мировоззрением и нарождающимся новым может быть графически выражена в следующих трех схемах.

1) $\overset{A}{\leftarrow}\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\overset{B}{\rightarrow}\ C$ — перевес прежних верований над новыми.

2) $\overset{A}{\leftarrow}\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\overset{B}{\rightarrow}\ C$ — равновесие.

3) $\overset{A}{\leftarrow}\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\overset{B}{\rightarrow}$ — перевес новых верований над старыми.

Из них ясно, что кризису сомнений, его наиболее острому моменту соответствует тот случай (2-ой чертеж), когда борющиеся силы, старое и новое, оказываются приблизительно равными. Джэмс в „многообразии религиозного опыта“ для религиозного обращения дает другое об'яснение. Он полагает, что у человека, наряду с его сознательным Я, имеется еще *сублиминальная* область, т. е. совокупность душевных состояний, лежащих ниже порога сознания. Это „подсознательное Я“ может развиваться, расти и при известных условиях вторгнуться в жизнь сознания, овладеть ею и, наконец, стать в ней господствующим началом. По моему мнению, гипотеза Старбека *более научна*, чем гипотеза Джэмса. Дело в том, что самонаблюдение показывает нам *принадлежность и старых, и новых верований* тому же единому сознанию. Гипотеза сублиминальной душевной жизни, опирается на допущение абсолютно - бессознательной душевной жизни, а такое предположение самопротиворечиво, ибо психическое состояние есть только другое слово для состояния сознания, поэтому здесь пришлось бы говорить о бессознательных состояниях сознания, что нелепо. Удивительно, что Джэмс в учении о сублиминальной душевной жизни противоречит своим же психологическим взглядам. В „Principles of Psychology“ он приводит 10 аргументов против допущения бессознательной психики (см. мое исследование: „Э. фон-Гартманн“. „Р. Мысль“ 1906 г.).

Но кризисы сомнения встречаются не только в юности, но и во всех возрастах. Есть натуры, которые всю жизнь ищут прочного мировоззрения, но неустойчивость их душевного склада не приводит их ни к какому надежному результату. Чехов в одном разсказе („В пути“) мастерски изображает нам именно такой тип. Ночью, на станции, 45-летний интеллигент вдовец с девочкой дочерью встречает молодую барышню, с которой дружески беседует и, как это часто бывает, в порыве откровенности выкладывает незнакомке всю душу—рассказывает ей свою жизнь. Чеховский герой всегда чем-нибудь увлекался, во что-нибудь страстно верил, но скоро терял свое верование и заменял его другим. Эта смена стоила ему немало жертв: „Я веровал не как немецкий доктор философии—не цирлих-манирлих—не в пустыне я жил, а каждая вера гнула меня в дугу—ломала мне душу и тело“. В конечном итоге даром прожитая бесплодная жизнь.

В истории философии есть непрерывный прогресс, только его не так легко подметить, как прогресс в области положительных наук. Этот прогресс имеет не линейный, а скорее, как указывал Лейбниц, *спиралеобразный* характер. Изживается известный цикл мыслей, но затем возвращение к исходным пунктам этого цикла уже осуществ-

ляется в другой плоскости. Вот при каждом таком переходе „в другую плоскость“ мы замечаем в истории философии кризис сомнений. Древнейший период греческой философской мысли завершился появлением софистов, из которых великий Протагор, провозглашавший относительность всех наших знаний, был первый скептик. Софистов сменяет основатель европейской науки Сократ. В начале упадка греческой мысли появляется Пиррон. Один из величайших отцов церкви, стоящий на рубеже языческого и христианского мира, переживает и преодолевает античный скепсис. В конце эпохи возрождения во Франции перед появлением Декарта философский скептицизм носится в воздухе. Монтень, Шаррон, Санхец, позднее Паскаль, являются его выразителями. На рубеже новой и „новейшей“ философии, накануне великой философской революции Канта, появляется Юм, которому кенигсбергский гений обязан „пробуждением от догматической дремоты“. Наконец, в последнее десятилетие минувшего века, властитель дум Ницше, является несомненным симптомом *нового поворота спирали*, еще большего углубления и обогащения человеческой мысли новыми духовными сокровищами.

XIX.

В былое время скептицизм возбуждал интерес исключительно самым философским своим содержанием. Его пытались критиковать, опровергать. В настоящее время нас он интересует не только с этой точки зрения его философской значимости. Мы хотим постигнуть духовный облик скептика, *не только гносеология, но и психология скептицизма занимает нас в настоящее время*. Отчего люди делаются скептиками? Нет ли для этого каких-либо побочных причин, лежащих в стороне от логических оснований знания и кроющихся в эмоциональной стороне сомневающегося? Ведь, для человека, признающего возможность достоверного знания, скепсис есть самообман, наваждение. В чем же кроются его чары? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно присмотреться к духовному обличью великих скептиков.

К сожалению, о величайшем из них, о *Пирроне*, мы знаем очень мало. Он жил, повидимому, между 365—275 г. до Р. Х., был родом из Элиды, участвовал в походах Александра Македонского. С последним обстоятельством связана любопытная подробность, которую историки скептицизма (Рихтер и Брошар) считают весьма вероятной. Во время своих азиатских странствий Пиррон познакомился с пессимистической философией индийских гимнософистов, и если пес-

симизм лежал в его натуре, то это соприкосновение с индийской *отравой* мысли еще более усилило в нем природный наклон мышления. Здесь приходит в голову полная аналогия с Шопенгауэром, который, пессимист от младых ногтей, нашел подтверждение своих мрачных дум в только что изданных в начале XIX века английских переводах индийских философских учений. „Поколения человеческие подобны листьям в лесу, ветер сдует листья на землю, и снова ими оденется лес, лишь только пробудится весна, так и род человеческий—одни растут, другие погибают"—вот любимые Пирроном Гомеровские стихи. Знание абсолютно невозможно. Скептик подобен Апеллесу, который хотел, изображая на картине лошадь, нарисовать пену—это не удавалось ему, и он с отчаяния бросил в картину губкой, смазанной краской. Получился как раз искомый эффект пены. Таков же скептик в поисках за знанием; он убеждается, что оно ни чувственным, ни интеллектуальным путем недостижимо. Ему остается один отчаянный выход—интеллектуальное самоубийство—воздержание от всяких суждений—ἐποχή, но как раз этот отчаянный шаг и приводит его к примирению с жизнью, к благополучной *атараксии*. „Меня ничто не поддерживает, говорит Пиррон, а тем не менее я стою непоколебимо". Итак, отказ от знания и бесхитростная жизнь, близкая к природе—вот что составляет последнее слово античного скепсиса, в котором легко усмотреть резиньяцию отчаяния. Подобная атараксия недалека от спокойствия могилы.

Если у Пиррона просвечивает продиктованная отчаянием покорность судьбе, любовь к року (amor fati, по выражению Ницше), то другой скептик, его ученик, Тимон, был натурою иного типа. Тимон, повидимому, прикрывает свой скептицизм отчаяния маской протеста, негодования, иронии. Ему принадлежат „силлы", ряд сатирических сцен, где он изображает философов в аду, их бесплодную логомахию в самом карикатурном виде, но является среди них Пиррон и своим словом водворяет блаженное затишье (γαλήνη).

Исповедь *Августина* представляет собою удивительный памятник духовных исканий. Этот страстный, мятущийся человек, погруженный в чувственную жизнь своих соплеменников, с юности задумывается над проблемой зла. Она у него idée pivotale всех его нравственных, философских и религиозных исканий. Девятнадцати лет из „Гортензий" Цицерона он почерпает сведения по истории философии. Затем следует почти десятилетний интерес к манихейству, где его более всего поразило признание за злом значения самодовлеющей реальности. После значительных успехов в ораторском искусстве, после тяжелых личных переживаний (потеря близкого

друга) уже по переезде в Кареаген он углубляется в занятие науками математикой, эстетикой. Эти занятия сопровождаются разочарованием в манихействе: оно не дает решения проблемы зла, и „мир“ остается в пределах этого учения „неприемлемым“. По получении каѳедры риторики в Милане, Августин знакомится с академическим скепсисом. Одновременно с этим он встречается с епископом Миланским Амвросием, который раскрывает перед ним новую перспективу к преодолению философско-религиозных противоречий. Далее знакомится он с новоплатонизмом, с Плотином. Психологически вполне понятно, почему Августин ухватился именно за это учение—оно в вопросе о реальности зла диалектически противоположно манихеизму—там добро и зло—Ормузд и Ариман, два реальных начала мира, здесь зло—Schein, видимость; но за порывами мятущегося духа у Августина чувствуется душевная пустота. В нем разгорается глубокий душевный кризис, который он описывает, как внезапный переворот в сторону христианства; последним толчком в этом направлении были слышанные им рассказы о героических подвигах христианских аскетов. Августин глубоко потрясен непоколебимой верой, которая царит в душе последних в противоположность его духовному смятению. Эти муки сомнения завершаются следующею сценой „обращения“, как его рисует Августин.

Мучимый своими сомнениями, Августин в решительный день переворота удалился от своего друга Алипия вглубь своего сада и долго, распростершись под смоковницей, молился. Вдруг он услышал за оградой сада детский голос, напевавший слова: „Возьми, прочти“. Он встрепенулся, стал думать, не случалось ли ему ранее слышать такое восклицание в детских играх, но не мог припомнить: „Тогда его осенила мысль, что это—знамение свыше. Он вспомнил, как Антоний, вошедши в церковь, когда читался стих из Евангелия: „Пойди и продай имение твое и раздай нищим, и приходи и следуй за мной“, принял это за знамение, к нему обращенное. Августин поспешил к месту, где сидел с Алипием, и где оставил книгу посланий Апостола Павла, и, раскрыв ее, увидел слова: „Будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям, ни пьянству, ни сладострастию, ни распутству, ни ссорам, ни зависти. Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти“. Прочтенное даровало Августину мгновенный выход из мук сомнения, бесповоротным решением принять христианство (см. Герье: „Блаженный Августин“, 1910 г., стр. 56).

Если верить этому описанию, то дело представляется чрезвычайно просто: нисхождение благодати вызвало в Августине мгновен-

ный, хотя и подготовлявшийся переворот в сторону христианства, что и побудило его вскоре принять крещение (387 г.). Между тем исторический анализ исповеди Августина показывает нам, что мотивы его „обращения" были *гораздо более сложны, чем он их представляет.* С переворотом его были связаны различные обстоятельства (отказ от кафедры риторики, обет целомудрия и принятие христианства). Мы знаем, что в эпоху описываемого кризиса и после у Августина еще преобладал интерес к новоплатонизму, что значение рассказа об аскетах крайне преувеличено, и что Августин, писавший исповедь 14 лет позднее кризиса (386—400), невольно исказил всю картину своего переворота, придав ему, сообразно своим новым христианским убеждениям, мистическую форму нисхождения благодати, сопровождавшегося бесповоротным принятием христианства. Так и теперь стараются представить кризис Августина католические богословы, наперекор показаниям научных историков (Гарнак, Рейтер, Герье и др.). Здесь невольно вспоминаешь слова Достоевского о том, что „психология—палка о двух концах".

В очень интересной книге Carra de Vaux: „Gazali" 1902 (Bibliothéque des grands philosophes, v. 9) сообщается следующее. Родившийся в 450 г. Махомед *Эль-Гацали* был сыном бедного работника, необразованного, но весьма уверовавшего в науку. В детстве он обучался в школе. Он изучил право и продолжал блестяще начатое обучение в Джьорджьяне. Однажды, возвращаясь по окончании занятий на родину он был ограблен на пути разбойниками, которые отняли у него все имущество, в том числе и все его юридические глоссы и комментарии. Он догнал и стал умолять их вернуть ему его юридические глоссы. „В этом мешке находятся книги, я нарочно покинул родину, чтобы списать их, усвоить и приобрести знания". „Как можешь ты говорить, что обладаешь знаниями,—возразил, смѣясь, один из разбойников, если нам достаточно было отнять их у тебя, чтобы ты их лишился?" Он возратил Эль-Гацали книги, и последний, рассказывая об этом эпизоде, усматривает в нем урок, данный ему Богом. Достигнув места назначения, Гацали успешно продолжал свои занятия и выступил на литературном поприще. В 488 г., пользуясь славой знаменитого оратора и преподавателя, он вдруг почувствовал потребность отдаться мистическому созерцанию. Он оставил свою деятельность, бросил семью и стал вести одинокую и аскетическую жизнь. Не переутомление работой и не опасность преследования со стороны правительства, но мотивы интимного характера, приводимые ниже, побудили его сделать такой шаг. В книге „Муккид" он рассказывает о себе, что с детства он ощущал жажду всезнания. Рели-

гиозные верования, опирающиеся в глазах ребенка всецело на авторитет родителей и учителей, казались ему лишенными достоверных оснований. Достоверность же он понимает чисто психологически, как такое состояние духа, в котором последний столь прочно связан со знанием и удовлетворен им, что ничто не может оторвать его от этого знания. Он предается различным сомнениям, тому, что называется *сенсуальным скепсисом*, а затем и *скепсису интеллектуальному*. Останавливается он и на сопоставлении *сна* и *действительности*,— не есть ли жизнь сон, а смерть пробуждение от него? Окажется ли наше знание по пробуждении таким же, каково оно теперь, в состоянии сна? Это истинное пробуждение может быть предвосхищено мистическим экстазом и просветлением духа, которое ниспосылает Бог. Это просветление дает духовную опору не только морали и эстетике в жизни, но и основным предпосылкам знания. Де-Во сомневается, чтобы этот документ был точным изображением духовных исканий, скорее это *литературный лейтмотив*, встречающийся хотя и не в такой отчетливой форме у арабских мистиков. Это обстоятельство не исключает того факта, что *связь скепсиса и мистики* здесь очевидна, и что мистика была для Эль-Гацали и других нередко *средством к освобождению от скепсиса*.

Античный скепсис Пиррона был вызван в большей степени *практическими*, чем теоретическими интересами. Не жажда всезнания, опирающаяся на вполне достоверные начала, играла здесь роль основного мотива, а стремленіе к невозмутимости духа.

Точно также и средневековый скепсис Эль-Гацали был тесно связан с морально-религиозными потребностями. Быть может, даже Эль-Гацали лишь эмоционально сопереживает известный литературный лейтмотив. Его поверхностный скепсис, так похожий по внешней форме на doute méthodique Декарта, глубоко отличается от последнего тем, что мистическая настроенность у него была сильна и *до* кризиса сомнений, которые были лишь преходящим состоянием духа, не повлекшим за собою никакого развития научно-познавательного интереса, но лишь укрепившего мистические и апологетические тенденции его духа. В его полемике против философов сказалось, несмотря на всю связанность мысли теологическими предпосылками, его изумительное диалектическое мастерство.

XX.

Если муки сомнения у Августина бесспорны, какова бы ни была природа пережитого им кризиса, то скептицизм *Монтеня* представ-

ляется нам явлением чисто литературным. Конец XVI века особенно способствовал распространению скептицизма, благодаря тому пресыщению эрудицией несистематической, беспорядочной, какая была характерна для эпохи накопления знаний без их концентрации. Монтень типичный продукт этого переходного времени. Сам человек, высоко образованный, любивший пестрое многообразие мнений, эстетически смаковавший литературно-философские контроверзии, он проповедует отрицание науки и замену ея благоразумною docta ignorantia, преданностью политическим и религиозным обычаям страны. Он говорит о трех родах невежества—невежество наивное простолюдина, неполнота знаний ученого и сознательное невежество, docta ignorantia, пресыщенного мнимым знанием, убедившегося в тщете наук и непознаваемости истины. Монтень рассказывает, как однажды во время кораблекрушения все люди на корабле трепетали от ужаса, один гусь с философским спокойствием продолжал есть горох. Монтень, поскольку он о себе рассказывает, весьма подходит под психологический тип скептика, только мук сомнения у него не замечается никаких. Он ярко характеризует в себе тенденцию к разнообразию, непостоянству во мнениях и настроениях *). („Я подобен старой бабе, которая зараз ставит свечку и Георгию Победоносцу, и дракону, которого тот хочет заколоть"). Как древние скептики, он сближает сон и действительность **), реальное и кажущееся. Как они, он отрицает самоочевидность аксиом познания. Но для него неустойчивость мнений скорее привлекательна, чем мучительна, он *импрессионист* познания. Эта легкость и беззаботность Монтеня и заставляет относиться к его заявлениям о себе подозрительно, *трудно провести границу между литератором и человеком*. Если Монтень действительно переживал кризис сомнений, то лишь в юности. В „Essais" он энергично подчеркивает тот единственный выход из теоретических сомнений, какой он усматривает: традиционная вера в религии и

*) „Мой взгляд на все так беспорядочен, что натощак и после еды я чувствую себя другим. В чудную светлую погоду при хорошем здоровьи—я порядочный человек, мозоль на большом пальце ноги делает меня раздраженным, нелюбезным, несообщительным" и т. д. („Essais, ch. XII, p. 301).

**) „Бодрствуя, мы спим и, спя, бодрствуем. Я не так ясно вижу во сне, но и явь представляется мне всегда не совсем ясной и не без дымки. Кроме того, сон в своей глубине усыпляет порою сновидения; но наша явь никогда не бывает столь явственна, чтобы окончательно очиститься от грез и рассеять их: грезы—сны бодрствующих—сны, худшие настоящих снов. Если принять во внимание, что наш разум и наша душа, воспринимая фантазии и мнения, зарождающиеся во сне, снабжает поступки во сне таким же одобрением, какое они проявляют наяву, почему не усумниться нам в том, не представляют ли наши мысли и действия наяву только другого рода сон, не есть ли явь лишь разновидность сна?" (344).

верность существующему политическому строю и обычаям страны. Причем эта вера должна быть совершенно слепой: „христианам представляется случай проявить веру, когда они наталкиваются на нечто невероятное (Essais, ch. XII, p. 211). Оно тем более согласно с разумом, чем более противоречит человеческому разуму". Человеческий разум не может овладеть истиной, все порожденное им шатко и спорно. В наказание нам за нашу гордость и дабы показать нам наше жалкое состояние и бессилие, Бог произвел смятение и беспорядок при столпотворении Вавилонском.

Я должен мимоходом отметить здесь еще никем не указанное совпадение в формуле, определяющей отношение веры к знанию, у Монтеня и Канта. Кант: „Я упразднил знание, чтобы дать место вере". Монтень: „anéantissant son jugement pour faire place á la foi" (p. 221). Разумеется, аналогия здесь чисто внешняя, ибо Монтень имеет в виду *слепую* веру в учение церкви, а Кант—сознательную веру в нравственный закон. Монтень хватается за веру конвульсивно: чем более велика нелепость, в которую мы должны верить, тем выше наша вера. В своем традиционализме Монтень граничит с опортунизмом, напоминая нашего скептика и „романтика реакции" Конст. Леонтьева, Как Монтень прославлял невежество турок и ставил их „мудрое незнанье иноземцев" в пример французам, так и Леонтьев находил, что невежество народа—гарантия его морального *здоровья* и его живучести и, прославляя Китай, говорил: „Россию нужно заморозить".

В Монтене литератор поглощает человека, у Шекспира же в Гамлете мы видим подлинную трагедию сомнения. Я упоминаю об этом не относящемся непосредственно к истории философии обстоятельстве, потому что влияние Монтеня на Шекспира, как показал Фосс, несомненно, сохранился экземпляр „опытов" Монтеня с автографом Шекспира, и некоторыя мысли „Гамлета" целиком взяты у Монтеня. В этом смысле Гегель метко оценил философское значение великой трагедии.

Если в глазах Монтеня загадка бытия не представляла ничего мучительного, и он, к вопросу „быть или не быть", относился с беспечным равнодушием (in utrumque paratus), то для *Паскаля* (1623—1662) это был вопрос жизни и смерти. В детстве уже великий математик, в юности создатель теории сочетаний, исследователь конических сечений, теории рулетки, изобретатель счетной машины, позднее выдающийся физик, производящий опыты по вопросу о vacuum, основатель гидростатики, этот пламенный дух, этот Брандт, которому нужно *или все, или ничего*, мучительно ищет выхода из скептицизма, самого радикального, и страстно хватается за церковную

веру, которую стремится *оправдать*, защитить со всеми ее случайными историческими и бытовыми особенностями. Он сомневается в реальности внешнего мира и других людей, сомневается в Боге и в то же время горячо стремится к вере. Самая высота религиозно-нравственного идеала, который рисуется ему, повергает его в ужас своею недостижимостью. Везде ему мерещится грех—в познании libido sciendi в жизни чувств—libido sentiendi, в жизни воли—libido dominandi, сладострастие познания, чувствования и властвования. Выход из сомнений он видит в слепой вере в церковную догму, в безусловном смирении ума перед нею. Глубина Паскалева трагизма, мне кажется, заключается именно в том, что у него *нет цельной, вполне искренней веры*, что он хочет *взвинтить себя* до такой веры, которая для него уже невозможна. Это видно, например, из того, что для доказательства бытия божия он прибегает к знаменитому пари. Орел или решетка — Бог существует, или нет? вопрос теоретически абсолютно неразрешим, но мы должны решить его практически, ибо „nous sommes embarqués—мы самой судьбой посажены на корабль жизни, и вопрос для нас практически сводится или к потере, или к приобретению бесконечного блаженства. Если Бога нет, беда будет не велика от нашего ошибочного верования, если он есть—мы в бесконечном выигрыше. Рассуждение это, *достойное врагов Паскаля иезуитов* своею *жалкою казуистикой*, нашло впоследствии через Бэйля, Локка и Руссо отголосок в 4-й антиномии Канта. (См. Renouvier: „Introduction á la philosophie analytique de l'histoire", глава „Le pari de Pascal"). В жизни Паскаля были два переворота в сторону религии—два „обращения"—одно в 1646 году, когда ему было 23 года, другое в 1654 году (31 год). Последнее связано с поразительным документом, который был предметом насмешек Вольтера—это *„амулет"* Паскаля. Паскаль всю жизнь носил на груди листок бумаги, на котором описывается его второй кризис обращения. Вот начало этого документа, живо рисующаго перед нами ту радость, то нравственное облегчение, которое нашел этот измученный сомнениями человек в слепой покорности церковной вере:

„L'an de grâce 1654.
Lundi, 23 Novembre jour de St Clement.
Depuis environ 10½ du soir jusque environ 11½.
Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, non des philosophes et des savants.
Certitude, certitude, sentiment, joie, paix, grandeur de l'âme humaine.
Renonciation totale et douce.
Soumission totale à C. et a mon directeur"..

Лелю делает анализ этого произведения с психиатрической точки зрения, совершенно минуя жизненную драму Паскаля. Для нас эти психиатрические подробности не представляют интереса.

Отца новейшего позитивизма *Давида Юма*, повидимому, не только нельзя заподозрить в муках сомнения, но многие вообще склонны не считать Юма скептиком. И, действительно, при чтении сочинений Юма мы находим *курсив* его мышления на понятиях обычая и веры. Уверенность в законосообразности природы, правда, по Юму, покоится на привычке, на известном ассоциационном механизме нашего сознания, который, благодаря привычке, стал нашею второй природой. Однако то обстоятельство, что таково последнее слово Юмовской философии, нисколько не исключает не только наличности скептического элемента в его учении, но и настоящих *мук сомнения*, а также наличности других душевных черт, которые мы считаем характерными для сомневающегося. К своему успокоению в области познания на культе привычки Юм пришел после тяжелой внутренней борьбы. *Кризис сомнений* был пережит им в юном возрасте (1734 г.), именно когда ему шел 23 год. Об этом кризисе мы узнаем из одного письма Юма к врачу, где он описывает свой душевный перелом и сравнивает его с кризисом „обращения", как его описывают французские мистики. В этом замечательном письме к врачу Юм указывает прежде всего на то, что он по окончании колледжа в Шотландии продолжал с величайшим увлечением заниматься самообразованием, читая преимущественно сочинения философского и литературно-критического характера. К 18 годам его умственный горизонт весьма расширился. Обязательное занятие юриспруденцией не увлекало его. Описывая далее свою беспомощность в попытках систематизировать свои многочисленные наброски и размышления и свой крайний упадок энергии, Юм пишет дальше: „Мне случалось читать в сочинениях французских мистиков и наших фанатиков, как они, описывая историю своих переживаний, отмечают апатию и психическое угнетение (coldness and desertion of spirit), как часто возобновляющееся настроение, причем некоторых из них оно мучило вначале целые годы. В виду того, что это умонастроение ревнителей благочестия (this kind of devotion) всецело зависит от силы экзальтации (passion) и, следовательно, от жизненных духов, мне часто приходило в голову, что есть известная аналогия между их душевным состоянием и моим (Boston: „David Hume", 1846, v. I, p. 30—39). Вероятно, отражение этих лично прочувствованных мук мы находим в описании того Stimmungssolipsismus, который он дает в заключительной главе „Трактата". Тенденция к сосредоточению внимания на изменчивом и разно-

образном проявляется у Юма в том, что он разлагает все познание на элементы пестрых психических импрессий: субстанция физического мира распыляется на сумму конкретных чувственных впечатлений, Я—превращается в „связку перцепций", восприятие времени и пространства в *minima visibilia* и *minima tangibilia* пространства — в слияние воедино прерывной совокупности чуть заметных ощущений и минимальных временных промежутков, заполненных ощущениями. Самоочевидность геометрии вызывает в нем сомнения. Все здание человеческой мысли сводится к единичным кирпичикам ощущений и идей, склеенных между собою внешним цементом привычки и веры.

В каком смысле можно говорить о *Ницше*-скептике? Ведь, он всю жизнь был проповедником определенного философского учения. В юности он увлекался Шопенгауэром, и данью этого увлечения явилось „Рождение трагедии". Потом он увлекся позитивизмом и дарвинизмом, чтобы, наконец, выступить со своим „Заратустрой". И тем не менее скептическая струя проходит через все его творчество, как трещина, вносящая коренное раздвоение во все построения его мысли, и в этом подлинная трагедия всего его творчества. В этом отношении прежде всего выделяется скептическая струя в области познания. Ницше протестует уже в юношеском труде против „Сократовской" претензии постигнуть бытие разумом и даже разумом исправить его. В книге „Человеческое, слишком человеческое", в которой самое название есть перифраз Протагоровского „человек—мера всех вещей", Ницше подчеркивает относительность и сомнительность наших знаний, их головокружительную пестроту. Он полагает, что овладеть единством в познании мира невозможно, что наш мозг в своих усилиях овладеть действительностью окажется бессильным; как Монтень, он доказывает вред знания для жизни. Он пророчит скорую утрату для человечества самого интереса к познанию. Самоочевидные истины он вовсе не считает ни истинными, ни самоочевидными, а просто верит в них, признавая их практическую пользу. И все это он думает в период своего интереса к позитивизму.

Область красоты была всегда особенно близка и дорога Ницше и тем не менее он является характернейшим представителем эстетического скептицизма. I) Искусство—порождение известных метафизических верований, мы эти верования утратили, потому и наслаждение искусством становится для нас невозможным. II) Художник—отсталое существо—он живет самообманом, который не может быть терпим нами, раз он нами осознан. III) Наслаждение искусством связано тесно с верой во вдохновение творца, но мы не верим в мистическую и метафизическую природу вдохновения, и обаяние

искусства пропадает для нас. IV) Наконец, искусство умирает. Мы видим еще свет от только что закатившегося солнца, но самого солнца мы не видим. Последняя грустная мысль напрашивается на сопоставление с печальным раздумьем Милля, который в эпоху крайнего угнетения духа опасался, что музыка, в виду ограниченного количества тонов, может быть *исчерпана.*

Такая же трещина проходит у Ницше по его метафизике и этике последнего периода. С одной стороны, он стремится взамен старых скрижалей завета дать новые, произвести *переоценку всех ценностей,* с другой,—и тут же рядом он проповедует *обесценивание всех ценностей.* Соответственно первому стремлению, он рисует идеал будущего Сверхчеловека, который будет относиться к теперешнему человеку, как последний относится к обезьяне; с другой стороны, он развивает идею *вечного круговорота,* согласно которой все в мире через огромные периоды буквально повторяется и, следовательно, каждый человек прикован к своему случайному существованию бесконечной повторяемостью бытия—отсюда одно, покорность року, amor luti, т. е. таже Пирроновская резиньяция отчаяния. Заратустра часто нуждается в маске, чтобы прикрыть ею выражение горьких чувств на своем лице. С идеей вечного круговорота у Ницше связано воспоминание, которому он придает большое значение. Это—тоже своего рода „обращение" в новую веру после периода сомнений. Это обращение относится к августу 1881 года. Мы будем разбирать его в IV-й главе II-го тома: „творческой интуиции".

Ренан в своей прекрасной автобиографии: „Souvenirs d' enfance et de jeunesse" дает нам удивительную по тонкости психологического анализа историю духовного развития и всех этапов в эволюции своего скептицизма философского и религиозного. Он отмечает указанную нами выше смешанность своего происхождения и видит в ней одну из главных причин своей двуликости. Описывая яркими художественными красками свое тихое детство в глухой Бретани, он отмечает то таинственное и величественное впечатление, которое на него производила обрядовая сторона религии. Жадно воспринимая малопонятные проповеди, он испытывал, слушая их, нередко сильное волнение, некоторые подробности представлялись ему особенно загадочными, его поражала фраза „Mors ascendit per fenestras",—эта смерть с крылами бабочки, проникающая через окна, неотступно его преследовала. Услышав, что один святой в XVII в. сравнивает женщину с огнестрельным оружием, поражающим на расстоянии, он строил самые безумные гипотезы, отказываясь представить себе, каким образом женщина может быть похожа на пистолет. Его детская вера была

наивной и крепкой и в маленькой семинарии в Issy, где он получил начатки схоластического образования, ничем не была существенно поколеблена. Когда по поводу некоторых сомнений, всеже возникавших в душе юноши, г. Готтефрей торжественно сказал ему: „Vous n'êtes pas chrétien!“, Ренан почувствовал, ужас. В семинарии в С. Сюльпис и позднее в С. Никола он все более и более углублялся в изучение богословских, философских и исторических наук. Его догматические верования постепенно ослабевали; наряду с ними у него начало складываться какое-то миросозерцание, напоминавшее не то пантеизм, не то позитивизм, но в силу какой-то юношеской непоследовательности он не ощущал его несовместимости с христианством. Весьма замечательно в кризисе его сомнений то, что самые иррациональные, но *абстрактные* догматы он без труда допускал. „Моя вера,—пишет он (258),—была разрушена не схоластикой, не философией, а исторической критикой. Божественная книга не может заключать в себе противоречий; между тем историко-философский анализ натолкнул Ренана на множество совершенно очевидных и неустранимых *фактических* несообразностей. Честная и благородная душа Ренана не вынесла гнета этих противоречий, и в сентябре 1845 г. он решил порвать с церковью. Свое душевное состояние при выходе из С. Сюльпис он описывает следующим образом: „Вся вселенная произвела на меня впечатление сухой, холодной пустыни. С той минуты, как только христианство представилось мне неистинным, все остальное являлось в моих глазах пустым, безразличным, лишенным всякого интереса. Крушение моей жизни создавало во мне чувство пустоты, похожее на то, которое испытываешь после припадка болезни, или под впечатлением разбитой любви“ (330).

Этико-религиозный скептицизм остался у Ренана на всю жизнь, но в области теоретической мысли он примыкает к позитивизму. Как у Монтеня, его скепсис хорошо уживается с политическим консерватизмом и традиционализмом. Но с его скепсисом также сочетается и *эстетический мистицизм*, совершенно чуждый Монтеню.

XXI.

Мы рассмотрели ряд жизненных драм, которые переживались скептическими натурами. Но, вчитываясь в произведения философов, которые по общему духу своих систем (подобно Августину) были весьма далеки от скептицизма, мы находим и у них или прямые указания на „кризисы сомнения“, или описания подобных кризисов, свидетельствующие о том, что им и лично были знакомы такие состо-

яния духа: Лейбниц, Кант, Гербарт, Фихте, Карлейль, Гегель, Ардиго и др. могут служить тому иллюстрациями.

В 1697 г. *Лейбниц* пишет: „Большинство моих взглядов наконец установилось после двадцатилетняго размышления, ибо я начал размышлять очень молодым, когда мне не было еще 15 лет. Тогда я гулял целые дни в одной роще, *чтобы сделать выбор между Аристотелем и Демокритом*“. В другом месте он пишет: „Уже ребенком я познакомился с Аристотелем, и даже схоластики не отпугивали меня, и отнюдь я не сожалею об этом. Но и Платон также, а равно и Плотин доставляли мне некоторое удовольствие, не говоря уже о других древних писателях, к которым я обращался. Выросши из школьного возраста, я набросился на писателей нового времени и теперь помню об одной прогулке в Розентале (парк близ Лейпцига), когда размышлял (dèlibère), *должен ли я придерживаться учения о субстанциальных формах или нет*. Но механизм одержал верх и побудил меня к изучению математики, в глубины которой, впрочем, я проник позднее во время моего общения с Гюйгенсом в Париже. Когда же я принялся изыскивать последние основания механизма и законов движения, я убедился в том, что этих оснований невозможно найти в математике, и что мне необходимо обратиться вновь к метафизике, а последняя привела меня от материи к формам, к энтелехии“ (см. письмо к Bemont de Monfort, op. ed. Erdm., p. 702).

Философское развитие *Канта*, если его представлять себе в грубых контурах, заключает в себе три стадии: догматическую, скептическую и критическую. От увлечения Лейбнице-Вольфовской философией и Ньютоном Кант переходит к изучению Юма, и затем наступает стадия самостоятельного творчества. В половине 60-х годов Канта мучили две проблемы после того, как Юм пробудил его от догматической дремоты: предупреждение ужасного разрушения всех наук, угрожающего со стороны скептицизма Юма, и моральная проблема нравственной свободы и ответственности. В письме к Гарве 1798 года Кант пишет, что 1769 г. имел большое для него значение, пролив „свет“ на занимавшую его проблему. Каков был внутренний переворот, пережитый Кантом, об этом можно только догадываться. Мне кажется, что здесь нам косвенно дает указание одно место в „Антропологии“, где Кант относит окончательное образование характера человека к позднему возрасту (30—40 лет). По мнению Канта, такой переворот имеет характер мгновенного или по крайней мере кратковременного взрыва, „Explosion“, за которым следует безповоротная решимость идти по новому пути. Что для Канта такое морально-религиозное обращение имело, как для Августина, характер чего то

мистического, это можно видеть из его „Религии в пределах только разума“ (стр. 47-я).

Духовное обличье *Гербарта* рисуется в форме типичного догматика, а между тем один интересный документ, оставшийся от этого „скучнейшего господина“, как называл его Шопенгауэр, указывает нам, что Гербарт пережил трагедию сомнения. От Гербарта остался клочек бумаги, на котором написано следующее: „В одно прекрасное утро, летом 1791 года (ему было 20 лет) я стоял на скале на берегу реки Заале. „Два шага, только два шага отделяли меня от бездны. Течение реки мутно, как мое самочувствие; светлый солнечный луч чуждый мне элемент. К чему ношу я в груди образ чистой человечности?“ etc. (См. брошюру проф. Алексеева о педагогике Гербарта и Штрюмпелля:

Гегель в своей „Феноменологии“ дает описание эволюции человеческого духа (и тут у него есть глава) *„Несчастное сознание“*. Стоическое стремление самосознания к независимости от данного приводит к скептицизму. В душе сомневающегося движущийся хаос— противоречие теоретического и практического, единичного и всеобщего. Несчастное сознание—это сознание о себе, как двойственном и противоречивом существе. В нас происходит как бы раздвоение личности. Гегель олицетворяет старое Я (греховное) и новое как бы в две личности, между которыми происходит мучительная борьба, которая находит себе примирение только в высшем начале разумности.

Руссо описывает кризис религиозных сомнений, пережитый им в юности, следующим образом: „Страх ада меня часто еще волновал. Я спрашивал себя, в каком я состоянии. Если я умру в данный момет, буду ли я осужден? В вечном страхе, задыхаясь в этой жестокой неизвестности, я прибегал к самым смешным средствам, за которые я охотно осудил бы всякого другого человека, так поступающего. Я выдумал такого рода предсказания, чтобы успокоить мои тревоги; я говорил себе—я брошу этот камень в дерево, если попаду, то это залог спасения, если не попаду, то это залог осуждения. Говоря так, я попадал в середину дерева, но это было нетрудно, так как я выбирал большое дерево и становился близко. И тогда я не сомневался более в своем спасений“ (Confessions, I, b. 6). Пьер Жане приводит это признание Руссо в качестве иллюстрации того вида психастенических сомнений, который он называет манией *предсказания или выпрашивания судьбы*, когда под гнетом сомнений мы отдаем себя во власть случая (П. Жане: „Неврозы“, 1911, стр. 38—40).

У *Фихте* есть труд, в котором он как бы описывает развитие собственной философской мысли: „О назначении человека“. Это со-

чинение распадается на три части: „Сомнение", „Знание" и „Вера", и в первом отделе Фихте очень живо и ярко рисует те муки, которые переживает сомневающийся при мысли о тяготеющим над ним роке физических законов. Ему рисуется судьба человека в виде чувства зависимости, испытываемого от внешней среды (что впоследствии так образно передал Шнейдер в картине, изображающей скованного человека во власти жабообразного чудовища Земли); вместе с тем здесь изображается мучительное чувство солипсического одиночества. В двух последующих частях Фихте изображает постепенный выход из этого плачевного состояния установлением своей идеалистической метафизики (знание) и подкреплением ее моральной верой.

То, что Фихте описывает художественно (хотя и, очевидно, на основании личного опыта), то *Карлейль* от имени героя „Sartor resartus" рассказывает о себе самом. Он почувствовал в себе зарождение сомнений на 19-м году (род. в 1795 г., следовательно, в 1814 г.). Эти сомнения, как и у Фихте, были морального характера. Взгляд на вселенную, как на машину, не мирился с глубокими моральными настроениями, взлелеянными еще с детства в суровой среде шотландских кальвинистов. Механическая картина мира, несовместимая со свободою „Я", ужасала его, как кошмар, и он уже был близок к самоубийству, как вдруг в июне 1821 г. в нем произошел духовный переворот, который он описывает следующим образом: „Чего же ты собственно боишься? Зачем ты вечно ноешь и жалуешься и крадешься боязливо, дрожа, как негодный трус? Презренное двуногое! В чем заключается самое худшее, что может тебя постигнуть? В смерти? Ну что же! Пускай и смерть, и адские муки, и все прочее, что только может причинить тебе человек или дьявол, да разве не можешь ты вынести все, что бы то ни было, и попрать ногами самого сатану в то самое время, когда он станет пожирать тебя. Пусть приходит ад, я встречу его и стану с ним бороться! И вот в то время, как я об этом подумал, словно пламенный поток пронесся через мою душу, и я навсегда отряс от себя низкое чувство страха. Во мне была такая сила, какой я и не подозревал. С этих пор природа моей скорби изменилась, это был уже не страх и не ноющая боль, а негодование и жестокое огнедышащее упорство" (Гензель: „Карлейль", 1903 г., стр. 35). Описанный здесь переворот пережит Карлейлем по дороге из Эдинбурга в Портобелло, а не в Париже, как сказано в романе.

Фриз, учившийся в 1792—95 гг. в богословской семинарии в Niesky, рассказывает о зарождавшихся в нем сомнениях следующее.

Лектором по философии был Гарве. „На лекциях вскоре зашла речь о воображении и суеверии. Это быстро и решительно изменило все мое религиозное мировоззрение. Я вдруг увидел, что моя благочестивая, молитвенная настроенность была лишь игрою фантазии, которою я сам развлекал себя, но она потеряла для меня всякую ценность. Таким образом для меня потускнело все значение культа". „К этому присоединилось еще то обстоятельство относительно учения об искуплении, что, как только я начал оценивать его с этической точки зрения, так стало ясно, как божий день, что вина, которую может за меня искупить другой, не есть подлинная вина, грех: освобождение от вины или должно быть достигнуто собственными силами, или оно является мнимым... Таким образом, для меня рушилось все положительное религиозное учение, с которым я до сих пор имел дело, однако, это отнюдь не поставило меня в затруднительное положение. Ни на мгновенье я не утратил сознание значения религиозной жизни и никогда не усумнился в существовании Бога и бессмертия". См. биографию Фриза Генке (Henke). Фризу в это время было 21—22 года.

Итальянский философ *Роберто Ардиго* (род. в 1828 г.), вышедший из крестьянской семьи и воспитанный в детстве в глубоко религиозном духе нежно любившей его матерью, сделался священником, углубился в изучение богословия, но позднее, увлекшись естествознанием и философией, пережил глубокий кризис религиозных сомнений, приведший его к разрыву с церковью и к самостоятельной творческой работе мысли в духе позитивизма. С пути богословской апологетики он неожиданно для самого себя свернул на путь свободомыслия: „Кончилось тем, что сомнения, приходившие ко мне со всех сторон уже в прежние годы, сомнения, с которыми я непрерывным размышлением и занятиями боролся, и которые в течение долгого времени считал побежденными, встали предо мною, но, к моему крайнему удивлению, уже не в виде сомнений, а как законченные убеждения и неоспоримые истины. Удивительная вещь! До этого дня я стремился прочно держаться моей религиозной веры, а между тем в глубине моего сознания, без моего ведома, под системой религиозных идей, бывших плодом столь усиленной и долговременной работы, развилась законченная позитивная система. *Новую систему я нашел, к моему величайшему изумлению, совершенно готовой и непоколебимо прочно стоящей в моем сознании как раз в тот самый момент, когда, сидя на поляне под кустом в маленьком саду, разведенном мною около дома каноника, я заметил, как последнее размышление порвало последнюю нить, связывавшую меня с прежней ве-*

рой. Тогда мне пришло в голову, что я никогда в жизни, в сущности, не верил, и что никогда не делал ничего другого, как старался развить в себе чисто научные тенденции" (Цитата взята мною из книги Геффдинга: „Современные философы", 1907 г., стр. 46—47). Здесь заслуживает внимания *близость* кульминационного пункта в кризисе сомнений не только к благополучному выходу из них, но прямо к самому моменту зарождения оригинальной философской концепции, что об'ясняется *глубиною и продолжительностью* предварительных философских размышлений, хотя они и предназначались первоначально для чисто *богословских* целей апологетики. На это обстоятельно указывает сам Ардиго („La morale dei positivisti", II, 3,2).

Иногда религиозные сомнения в юности проявляются в резкой иконокластической форме. Так, *Джьордано Бруно* во время пребывания в монастыре С.-Доменико, где он перечитал массу книг (с 15 лет), усомнился в троичности лиц Божества, убрал из кельи образа св. Екатерины и св. Андрея; усомнился в божественности Христа и в реальности пресуществления. *Вл. Соловьев* в порыве отрицания в юности выбросил из комнаты все образа в сад. *С. Симон* в 13 лет усомнился в религиозных истинах и заявил отцу, что он отказывается причащаться, убеждая отца в бесполезности насильно заставлять его это делать, ибо он все равно не в состоянии вложить в этот обряд какую-либо искреннюю внутреннюю религиозную убежденность. Когда его в наказание заключили в карцер в С.-Лазаре, он подрался со сторожем, ранил его, вырвал у него ключи и убежал. У князя *С. Трубецкого*, по словам проф. Лопатина, религиозные сомнения пробудились в 16 лет, в V классе гимназии. Эти сомнения имели для него очень большое значение. Они только усилились, когда он прочел Бокля и некоторые сочинения Г. Спенсера. Для него наступила пора религиозного отрицания, которое он, со свойственной ему горячностью, выражал пугающим окружающих нарушением правил религиозного благочестия. В VI классе он читает „Логику" Милля, Дарвина, О. Конта в изложении Милля. Миросозерцание его — смесь эмпиризма и материализма. В VII классе он знакомится с Куно Фишером, который производит на него огромное впечатление, вызывает в его душе переворот и влечение к немецкому идеализму; в это же время он читает „Критику" и „Пролегомены" Канта. Знакомство с Соловьевым в VIII классе вызывает в нем поворот к христианству (О первых шагах в образовании личности и миросозерцании философа см. статью проф. Л. М. Лопатина в „Собр. сочинений кн. С. Н. Трубецкого").

Мы видели, что у *А. А. Спира* религиозность проявилась в

очень раннем возрасте в интенсивной форме, и что он в юности возымел намерение поступить в монастырь. В последний год пребывания его в юнкерской школе, когда это намерение еще не покинуло его, в нем были пробуждены религиозные сомнения товарищами, познакомившими его с сочинениями Вольтера. Юноши потешались, говоря, что „поп променял молитвенник на Вольтера", и бедный юноша (18 лет), ошеломленный новизною впечатлений, возмущенный до глубины души, переживал те жестокие муки, которые испытывает человек, видя поругание своей святыни". Он вознамерился опровергнуть Вольтера и для этой цели стал, с одной стороны, изучать его, а, с другой,—богословские сочинения на русском и французском языках. „Вместе с тем он усилил свои посты и молитвы, но ничто уже не помогало: яд анализа, раз запав в его душу, продолжал в ней делать свое разрушительное дело". Он отказался от мысли поступить в монастырь и почувствовал, что его религиозные убеждения не имеют под собою твердой почвы (см. биографию, приложенную к очеркам „критической философии", 1901).

Спир нашел выход из своих сомнений, с одной стороны, в занятиях сельским хозяйством и необычайном проявлении деятельной любви к крестьянам, которых он освободил и наделил землею; с другой стороны, он решил всецело отдаться философии, которой он и посвятил всю свою остальную жизнь. (См. биографию Спира Брикнера в виде предисловия к переводу его сочинений. „Очерки критической философии", 1901).

Бросая общий взгляд на кризис сомнений у философов-нескептиков, следует отметить ряд характерных черт этого кризиса: 1) В большинстве случаев он падает на *переходный* возраст или время *ранней юности*. 2) Нередко возникает на почве *религиозных* сомнений. 3) Часто имеет *бурный* и *мучительный*, но *скоропреходящий* характер. 4) Имеет благотворные последствия для дальнейшего развития философской изобретательности не только в интеллектуальном отношении, знаменуя собою разрыв с традиционным и наивным образом мыслей и заимствованным извне догматическим строем миропонимания, но и преобразуя всю *аффективно-волевую* сторону личности, обогащая ее состав, содействуя одновременно и ее самопознанию, проникновению в глубины сердца, и ее широте, перевоплощаемости в другие души, способности становиться на весьма различные, нередко прямо противоположные точки зрения. В этом смысле глубоко прав знаменитый натуралист Гексли, когда он говорит о том благе, которое приносит своим посещением ученому и философу в их творческих исканиях *„благодетельный гений сомнения"*.

Кризисы сомнения в духовном развитии философа следует отличать от духовных кризисов, где муки *сомнения* в собственном смысле отсутствуют, но где имеется только сильная *подавленность* духа. Поэтому нельзя отнести к кризисам сомнения ни переворота в области чувствований, пережитого Миллем, ни кризиса, описанного Пристли. Я остановлюсь немного на последнем.

Пристли, воспитывавшийся, как мы видели, в духовной среде, был ребенком слабого здоровья. В этом обстоятельстве, подобно Мэнде-Бирану, он усматривает нечто благоприятное для самоуглубления: „Я не думаю вообще, чтобы физическая сила сопровождалась тою чуткостью духа, какая благоприятна для благочестия и умозрительных целей (speculative pursuits). Воспитываясь в суровой обстановке, он в своих одиноких размышлениях пережил однажды тяжелый кризис: „Я чувствовал подавленность духа, о которой я теперь вспоминаю с ужасом, хотя я не мог упрекнуть себя ни в чем существенно греховном: я нередко приходил к заключению, что Бог отверг меня, и что судьба моя подобна судьбе Фрэнсиса Спира, которому, по его убеждению, было отказано в спасении. Я помню, какое потрясающее впечатление произвело на меня чтение в подобном состоянии описания человека в железной клетке в „Pilgrim's progress“ (см. Thorpe: „Essais on historical chemistry“, 1912, p. 34—35).

XXII.

Если подвести *баланс* в *оценке* той роли, которую играет скепсис в процессе философского изобретения, то, мне думается, он выразится в следующих *минусах и плюсах*:

I) Для всякого человека, убежденного в возможности и реальности научно-философского знания, скептицизм представляется проявлением *болезни воли*. Он вырастает или на почве *ослабления воли*, упадка живого познавательного интереса, или на почве *конвульсивности* волевой деятельности, когда борьба противоположных сил *парализует* в духовной лаборатории мысли всякую изобретательность. Но скепсис может развиться и в натуре, одаренной вполне здоровой волей, хотя и неприспособленной по своему складу к философскому творчеству. Причина, обусловливающая развитие скепсиса, лежит, как в *интеллектуальной* области, так и в *эффективно-волевой*: 1) В интеллектуальной области главная причина его лежит в глубоком несоответствии между процессом *накопления* знания и процессом его *концентрации*. Поверхностный универсализм всякого дилетанта и узкая специализация одностороннего специалиста создают благопри-

ятную почву для развития скептических тенденций, особенно в переходные эпохи (Возрождение и Монтень, конец XIX века и Ницше), когда процесс накопления *специальных* знаний *отстает* от процесса углубленного и осознаннаго философского их синтеза. 2) В *дисгармонической корреляции аффективно-волевых* наклонностей лежит другая причина скептических тенденций. Она имеет своим последствием своеобразный интеллектуальный *импрессионизм*, который развивается, как мы видели, на почве *смешения рас* или у натур с болезненно-переутонченной физико-психической организацией. Разные социальные изменения, так сказать, *смещения культурных пластов*, соприкосновение и духовное взаимопроникновение социальных и национальных групп особенно благоприятствуют развитию скепсиса у таких натур. Ницше метко обозвал конец XIX века *„веком сравнения“*, когда так ускорился в человечестве обмен духовными ценностями между различными народами в пространстве (путешествия, конгрессы, переводная литература, народные университеты и т. п.), и возникла углубленная ассимиляция ценностей прошлого, благодаря сильному развитию *историзма*, — недаром тот же Ницше писал о *чрезмерности истории* в нашей культуре, о том, что перевоплощаемость в прошлое черезчур-де подавляет творческую самодеятельность современного человека (см. статью проф. Н. И. Кареева: „Ницше о чрезмерности истории“). 3) Скептицизм, подрывая убежденность в могуществе человеческого разума, хватается или за *философию веры* (фиденизм), или за *философию чувства* и сверхразумного созерцания (*интуиционизм* или *мистицизм*). Скепсис и мистика—два сапога пара, и это можно отметить на всем протяжении истории скептицизма и мистицизма, вплоть до самых новейших его представителей. В этом отношении весьма любопытна брошюра Landauer'a: „Skepsis und Mystik“ (1903), который указывает (стр. 102) на связь скептицизма с мистикой у самых последних немецких интуиционистов: „Война всем существующим религиозным общинам и *всякой научной системе*, так как все они *требуют признания определенных понятий и определенных связей между понятиями* в качестве интеллектуально правильных!“ „Es ist aber unmöglich, dass ein Mensch etwas richtig begreift!“ (Johannes Wedde).

Вся мистическая философия Бергсона с ее „финессами и деликатессами“ тонких психологических анализов и диалектической изысканностью изложения есть порождение того *безвыходного скептицизма*, во власти которого очутился Бергсон. Подобно Канту, Гербарту, Когену и другим философам, он испытал кризис сомнений вследствие невозможности найти рациональный выход из *парадоксов бесконечности*. Но в то время, как другие философы находили из

этого кризиса в конце-концов *рациональный* выход, Бергсон признал за человеческим *рассудком* полное бессилие преодолеть загадку *непрерывного*, и он, чтобы решить ее, вступает на путь интуиции. Из такого же *скептического бессилия* преодолеть *противоречия бесконечного* выросли философия веры (фидеизм) Ренувье, и прагматизм Джемса. Последнее особенно ясно видно из его последней книги: „Introduction to philosophy", 1914.

Расплывчатость и шаткость терминологии, пренебрежительное отношение к системному философскому строительству при наличности иногда искусных диалектических построений отдельных доказательств, неумышленное, но упорное стремление воздействовать на *эстетическую внушаемость* читателя, подмена решающего аргумента ярким образом, сравнением или ложной аналогией — вот обычные дефекты *скептика-мистика*. „Постулятивный" метод, введение необоснованных предпосылок и настойчивое *требование* покориться им, апелляция к моральному чувству и практическому смыслу читателя, призыв к *действию* вместо „слов", стремление застращать читателя грозными перспективами, которые открываются перед „неверующим" в тот или другой „практический постулат", и до утомительности низойливое *повторение* тех же неубедительных аргументов в слегка измененной форме, являющееся средством *самовнушения и внушения*,—черта, напоминающая политических агитаторов и церковных проповедников—вот основные недостатки в мышлении *скептика-фидеиста*.

II) Если теперь обратимся к плюсам скептицизма, то они представятся нам в следующем виде: 1) Кризис сомнений является, как временное, переходное состояние духа, не только не вредоносным, но прямо *благодетельным* моментом в процессе философского развития, так как знаменует собой решительный разрыв с *традицией*, церковно-религиозной или иной. 2) Сочинения скептиков являются всегда прекрасным *стимулом для философской любознательности*. Скептик не умеет *решать* проблем, но его внимание *до чуткости изощрено* по отношению к тому, что, действительно, достойно глубокого размышления. Сочинения скептиков нередко богаты многоцветными мыслями, тонкими психологическими наблюдениями, многозначительными контрастными сопоставлениями мыслей и фактов. Поэтому они непременно *будят* философскую мысль от *догматической дремоты*. 3) Изучение великих скептиков одного за другим имеет огромное воспитательное значение для зрелого философского ума. *Перевоплощаясь* в душу скептика настолько, чтобы вполне его понять, но не настолько, чтобы взаправду *заразиться* его идеологией и его чувствами,

мы делаем себе прекрасную прививку интеллектуального яда, который сообщает нам на долгое время *иммунитет* от заболеваний в области творческой мысли. Наконец, 4) скептицизм носит в себе изрядную дозу великой *иронии* над резонерством, самомнением и тупым педантизмом догматиков. Опасность оказаться в смешном положении всегда угрожает догматику, и ему приходится быть настороже под угрозой стать объектом беспощадно-меткой насмешки скептика. Духовная подвижность скептика, его искусство подмечать односторонности человеческого духа является драгоценным средством против самодовольного *тщеславства* замкнутых в себе и *лишенных дара перевоплощаемости* метафизиков. Произведения скептических умов—драгоценное литературное наследие. „Силлы“ Тимона Флиунтского, только-что превосходно переведенные на р. язык проф. Г. Ф. Церетели, „Диалоги в царстве мертвых“ Лукиана, „Les systémes“ Вольтера, где один за другим выступают в смешном виде догматики метафизики, блестки остроумия Монтеня, бичующая ирония Паскаля, тонкий юмор Юма, забавные разоблачения предрассудков философов у Ницше и „трагическое в свете мирового юмора“ у Банзена—все это незабываемые страницы, которые могут действовать самым отрезвляющим образом на косность догматической мысли.

Глава IV.

Творческая память.

XXIII.

На первый взгляд может показаться, что исключительная память и крупная оригинальность несовместимы. Исключительная память имеет „механический“ характер — она удерживает и существенное, и несущественное в том же пространственно-временном распорядке—ее функция restitutio ad integrum. Изобретательность же предполагает непременно *комбинационную способность*, т. е. *диссоциирование* цельных случайных комплексов образов и мыслей и приведение в *контакт* между собой до сих пор обособленных психических элементов. Но *чисто механическая* память без интеллектуального момента различения существенного от несущественного есть предельная воображаемая *фикция*, а *чистый интеллект*, свободно комбинирующий независимо от границ, полагаемых психофизическим механизмом ассоциаций, есть другая такая же фикция—„чистая

чувственность“ и „чистый рассудок“. Механизм воспроизведения не есть граммофон, но объединен единством сознания, сообщающим всем входящим в него элементам более или менее ясное или смутное чувство принадлежности одному „я“,—таков кантовский закон *аффинитета* (сродства) представлений, возвышающийся над законами ассоциации представлений. Самое несовершенное сознание отдает одним представлениям известное предпочтение перед другими и выбирает из среды других; одни представления, независимо от его воли, в силу интенсивности и повторяемости, удерживаются лучше, чем другие, поэтому любое сознание в известной мере *сортирует* представления и не есть пассивная фотографическая пластинка. Когда мы говорим о людях с чудовищной от природы и притом *механической* памятью, мы говорим это cum grano salis, не в абсолютном, а в относительном смысле слова. Эрудиты, описательные историки, практические полиглоты, классификаторы-натуралисты— у всех у них память отнюдь не вполне механическая: в ней есть *элемент* рациональный, они могут обладать *в известной мере* комбинационным даром, ясностью понятий и т. д., и лишь по степени они отличаются от интеллектов с более сильно развитой способностью к абстракции и к диссоциированию. Научное творчество распадается на бесчисленное *множество градаций* одаренности в смысле преобладания памяти, мышления, фантазии и т. д. И этого никогда не надо забывать. Человек, неспособный к обобщениям и изобретательности одного масштаба, может быть вполне способен к обобщениям и изобретательности другого, гораздо меньшего масштаба, между тем, как *собиратель* и *сортировщик* фактов, он может быть индивидуальностью чрезвычайно ценной.

После этих предварительных замечаний можно сказать, что память не есть нечто, несовместимое с оригинальностью *), при условии, если она в умственном развитии ученого *организована*, если ея развитие *урегулировано* при помощи интеллекта, т. е. *выбор* фактов

*) Можно пойти еще дальше и сказать, что оригинальность совместима с очень слабой памятью. Ломброзо приводит многочисленные примеры *амнезии* у гениальных людей. Но эти примеры или свидетельствуют о временном болезненном состоянии мощной от природы памяти, или свидетельствуют не о слабости специальных форм памяти для той или другой сферы творчества, а о *житейской рассеянности*, забывчивости на факты, касающиеся внешней обстановки, а такая рассеянность есть *оборотная сторона исключительной силы* концентрации интеллектуального внимания и специфических форм памяти. Может ли, напр., служить примером слабости памяти анекдот об Ампере, который, написав формулу на спинке фиакра, побежал за экипажем, когда последний сдвинулся с места, или рассказ о Джьойа, который в азарте сочинительства написал одну главу не на бумаге, а на своей конторке и т. п. („The man of genious“, англ. перев., стр. 34).

подлежащих запоминанию, обусловлен известными методологическими приемами, с которыми ученый подходит к изучению действительности. В этом и заключается разница между памятью *неорганизованной* (mémoire brute) и памятью *организованной*, как выражается Дюга в статье: „La mémoire brute et la mémoire organisée“ (Revue philosophique, 1894, II). Он приводит в качестве образчика человека с сильной, но неорганизованной памятью (из Abercombry) д-ра Лейдена, который мог запомнить *с одного раза буквально* текст целого парламентского акта, и в тоже время, чтобы припомнить какой-нибудь отдельный пункт в документе, ему надо было воспроизвести все сначала до искомого пункта. Тэн рассказывает об историке математике, который говорил: „Я мог бы создать систему, ведь для этого нужна лишь известная доля изобретательности, и, быть может, я способен на это не в меньшей степени, чем кто-нибудь, но, спрашивается, кчему?! Ведь, моя система окажется необоснованной, и зачем мне терять время, чтобы в конце концов одурачивать себя фразами?“ Он ограничивался издаванием документов и умер, работая над изданием сочинения одного арабского математика X века, каковое, по его расчету, должно было отнять у него пять лет работы (Paulhan: „Analystes et esprits synthétiques“, p. 66—67).

Случаи феноменальной механической памяти нередки, и история сохранила нам ряд имен лиц, обладавших исключительным даром запоминания и воспроизведения (Θемистокл, Митридат, Сципион, Пико-делла-Мирандола и др.). Но ко многим сообщениям такого рода все же надо относиться, как к анекдотам, не проверенным надлежащим образом. Так, например, существуют бесчисленные рассказы об удивительной памяти коронованных особ. В таких рассказах нередко нужно отнести известную долю за счет придворной лести, а другую долю за счет наклонности высокопоставленных лиц выдавать себя за сверх-человеков. Вот образчик легковерного отношения к анекдотам о памяти царей и королей: „Джиббон сказал, что все королевские фамилии в Европе выдавались своею памятью на лица и на собственные имена. Маркиз де-Буайе сказал, что Густав III, король шведский, обладал исключительной силы памятью,— „явление, часто наблюдаемое у принцев крови и являющееся как бы шестым чувством, дарованным им природой“. Принц де-Линь пишет de Cogny из Киева про русскую императрицу Екатерину вторую: „Она приняла меня, как будто я виделся с нею не шесть лет, а шесть дней тому назад. Она мне напомнила тысячу разных разностей, которые могут помнить только монархи, ибо *у монархов память всегда*

великолепная". (См. Journal of Speculative Philosophy. 1871, v. V, ,Henckle: ,,Remarkable cases of memory").

Dugas в статье—„Les mémoires extraordinaires" приводит многочисленные примеры „механической" памяти. В организованной памяти характерно то, что обладатель ее умеет не только систематически запоминать, но и систематически забывать, благодаря *концентрации внимания* и повышенному интересу к тому, что нужно. Это обстоятельство, как указывает Тэн, характеризует изумительную память Наполеона. Сам Наполеон говорил, что различные предметы и дела были расположены в его голове, как в шкафу: „Когда я хочу прервать занятие одним делом, я закрываю один ящик и открываю другой" („Мемориал").

„Классификации, делаемые натуралистами, можно рассматривать, как мнемотехнические системы",—говорит Дюга, а Джэмс замечает: „Философская система, в которой все вещи нашли бы себе рациональное об'яснение и были бы связаны между собою причинной связью, представляла бы *собою совершенную мнемоническую систему*, которая давала бы возможность при наибольшей экономии сил достигать наиболее богатых результатов" (В. Джэмс: „Психология для учителей").

Я остановлюсь еще на одном примере исключительной механической памяти, так как он представляет не только большой психологический, но и общефилософский интерес. В упомянутой мною выше американской статье Henckle (1870) подробно описан случай *памяти на собственное прошлое*, для которого я не знаю аналогичного во всей европейской психологической литературе. Быть может, этот случай есть от начала до конца чистейший „bluff", но его надо рассказать во всяком случае, ибо он наводит на некоторые поучительные соображения, даже как мысленная возможность. Однако, с известными оговорками случай не представляет ничего явно неправдоподобного. В Пенсильвании 10 сентября 1817 г. родился некто Daniel Mac-Cartney. Генкле познакомился с ним в июне 1870 года, т. е. когда ему было уже 53 года. Мак Картней от рождения имел плохое зрение, 13 лет был подвергнут неудачной операции глаз. Только в 1862 г. он обнаружил в себе возможность читать крупную печать на расстоянии двух вершков от глаз, следовательно, его духовное развитие было на тридцать слишком лет затруднено слепотой. Занимался он всю жизнь физическим трудом, посещал публичные лекции, собрания методистов и таким путем продолжал сохранять духовные интересы. Мак-Картней утверждает, что он может определить за $42^1/_2$ года жизни (от 1 января 1827 года),

какой был день недели в любой из истекших 10.000 дней, какая была погода, и какие были в этот день события, известные ему. До 1 января 1827 г. он помнит много дней, но не все, у него есть пробелы. Генкле, пользуясь „Ohio House Journal“, где имеется календарь за много лет, предлагал ему вопросы. Весь этот разговор, занимающий около печатного листа, воспроизведен в журнале в упомянутой выше статье. Я приведу для образчика начало разговора:

В. Какой день 8 октября 1828 г.?

О. (Через 2 секунды). Среда. Было облачно. Накрапывал дождик. Я снес обед моему отцу туда, где он таскал уголья.

В. Февраля 21-го 1829 года?

О. Суббота. Утром было облачно, но к полудню погода прояснилась. Земля была слегка покрыта снегом. Дядя, живший в соседстве с нами, продал лошадь за 35 фунтов.

В. Октября 13-е 1851 года?

О. Понедельник. Погода была „подоброе“, довольно приятная погода. Я оставался всю ночь на понедельник у брата, а на другой день отправился в Карлингтон в депо пилить дерево и т. д.

Мак-Картней угадывал дни в безошибочном соответствии с показаниями календаря, кроме тех случаев, когда в календаре имелись опечатки. Он был в то же время хорошим умственным счетчиком и знал множество географических названий. Генкле спрашивал его, каким путем он воспроизводит дни своего прошлого. Мак-Картней об'яснил. Когда ему называют дату, то он прежде всего вспоминает, что он делал 1-го января данного года, а затем мысленно пробегает важнейшие обстоятельства каждой недели данного года до назначенного ему числа. Таким образом, у него имеются опорные пункты, с которыми ассоциативно связаны крупнейшие события данного года.

К этому еще следует добавить, что слепота при феноменальной пластичности природной памяти могла естественно побудить Мак Картнея сознательно направить его внимание на его собственное прошлое и события, доступные ему не из книг, а из окружающей жизни. Интеллигентность описанного лица, повидимому, очень невысокого уровня. Читатель увидит ниже в главе: „Три пути философии изобретения“, почему я так долго останавливаюсь на этом исключительном случае. Приведенный случай далеко отстоит от случаев феноменальной памяти ученых; в последней, даже в крайних случаях ее проявления, все же существенную роль играет выбор фактов и сопутствующая работа мысли.

В этой интересной анкете три обстоятельства нужно принять во внимание, прежде чем поддаваться *изумлению* по поводу того, что Мак Картней, повидимому, обладает тем, что Бергсон называет „souvenir pur"—*целостным воспоминанием своего прошлого, целостной интуицией всей своей жизни*. 1) В приведенном разговоре Мак Картней не делает *ни одной ошибки*, он ни разу не запинается, не говорит, что забыл или не уверен в точности воспоминания. 2) Генкле сознается, что он не проверял, верно ли приурочивал Мак-Картней те или другие факты своей личной жизни, да это и невозможно было сделать. Равным образом, экспериментатор не проверил показаний испытуемого о погоде, что, я думаю, можно сделать по метеорологическим таблицам и календарям данной местности. Проверке поддавались также указания испытуемого на исторические события дня. 3) В данном случае, если даже вполне признать его аутентичность, *нет никакой целостной интуиции прошлого*, но лишь конспективное *кинематографическое* приближение к ней, как абсолютно недостижимому пределу. Если предположить, что Мак-Картней воспроизводит из событий каждого дня *десять* важнейших фактов (на самом деле гораздо меньше), то его интуиция прошлого образует прерывный хронологически-упорядоченный ряд в 100,000 фактов и 10,000 дат, а отдельное звено в этом ряде он воспроизводит не сразу непосредственно, но при помощи „souvenirs clichés", т. е. обычных законов ассоциации.

Чрезвычайно интересный случай представляет научное творчество Ф. Ф. Соколова, как иллюстрация того, как сверхчеловеческая, но *неорганизованная* память создавала *препятствия для широких обобщений и яркой изобретательности* у человека, несомненно крупно одаренного от природы *не только механической памятью*. Я воспользуюсь данными весьма интересной биографии Ф. Ф. Соколова, составленной проф. С. А. Жебелевым.

Ф. Ф. Соколов обладал феноменальной памятью на исторические события, обладал совершенно исключительными знаниями в области греко-римской истории, литературы и древностей, причем, наряду с необычайной *об'емностью*, эта память отличалась также чрезвычайной *точностью и сподручностью* (Gedächtnisdisponibilität). Ф. Ф. Соколов непрестанно поддерживал и упражнял ее десятки лет чтением главным образом источников. Он не расставался с древними авторами даже в трамвае или поезде в качестве Reiselecture. Его одушевляло стремление прочесть и узнать о древних *все*; он жалеет, что ему не удалось усвоить многого, „*несмотря на все мое желание узнать все, что только можно узнать о древностях греческих и римских*". Поставив себе подобную неосуществимую вследствие *неисчерпаемости*

явления задачу, проф. Соколов искусственно задержал развитие своей памяти на *низших ступенях обобщающей деятельности*. В его курсе и особенно в некоторых его трудах были и обобщения весьма часто удачныя, но *узко специальные*. Его память не была механической, но и недостигла той высшей формы организованности, при которой возможны широкие обобщения, во всяком случае, кроме памяти, тут было *проникновенное знание всего материала, относящегося к древнему миру*. Проф. С. А. Жебелев приводит один замечательный документ, небольшой листок с обозначением *60 тем для специальных статей*,—оказывается, что здесь, кроме заглавий, ничего не было, никаких черновиков и заметок: „Ф. Ф. держал весь материал в голове и по тщательном обдумывании его и наведении необходимых справок писал свои статьи прямо набело, почти без всяких помарок“ (см. „Ф. Ф. Соколов“, (1844 — 1909) стр. 28). При таком фактопоклонстве у Соколова была всегда известная доза скептицизма в отношении к широким обобщениям, но также необыкновенный критический дар при установке исторического факта, чувство действительности и уменье быстро ориентироваться в специальном вопросе. Соколов своими познаниями вызывал в учениках своего рода „священный трепет“. „О чем, бывало, ни спросишь у Ф. Ф., на все у него готов ответ, будь то вопрос из древней истории или вопрос из области древней литературы. Ответ давался быстро, причем лишь в редких случаях Ф. Ф. говорил, что о том-то и о том-то нужно справиться у такого-то писателя или посмотреть такую-то надпись; обыкновенно и соответствующее место из писателя или надписи либо подробно излагалось, либо даже приводилось в доподлинном виде“ (Ibidem, 12 стр.).

XXIV.

Мне думается, что такая память, столь ценная для историка, *несовместима с дарованием философа*. В духовном развитии последнего она должна *преобразоваться*, получить иную форму, что, как мы увидим ниже, и действительно наблюдается. Не раз указывалось, что способность к зрительной конкретной памяти и наблюдательность находятся в *антагонизме* со способностью к абстрактному мышлению. Я думаю, что это утверждение приемлемо лишь с большими оговорками.

Природная память философов, повидимому, *не менее значительна*, чем память вообще даровитых людей. Между тем, мы часто слышим от философов *жалобы на плохую память*, например, Руссо, Монтень, но здесь имелась в виду не та или другая специфическая

память ученого, а забывчивость на житейские мелочи и рассеянность в практической обстановке. О вреде *механического* чтения для философов я уже говорил выше. Вот что пишет Малебранш о подобного рода чтении в процессе развития памяти: „Очень полезно читать, когда размышляешь над прочитанным, когда стараешься путем некоторого усилия своего ума найти решение вопросов, поставленных в заголовке глав, прежде чем приступить к чтению, когда приводишь в порядок и сопоставляешь идеи вещей одни с другими". И он думает, что „*люди, обладающие большою памятью, обыкновенно неспособны хорошо судить о вещах*, которые требуют большого внимания". Действительно, возможны случаи, когда внешняя эрудиция философа, одаренного от природы сильной памятью, может несколько подавить в нем значительное философское дарование. Такой случай мы встречаем в биографии Уиллиама Гамильтона, который с ранней юности всю жизнь много читал и коллекционировал обширную библиотеку. Монк указывает на то, что эрудиция его, выигрывая в *широте*, проигрывала *в точности* и до известной степени *подавляла в нем творческий размах*. Прежде чем писать по какому-нибудь вопросу, Гамильтон обращался к такому множеству авторов и делал столько выписок, что работа вскоре выходила за пределы надлежащих размеров, он обескураживался и в отчаянии не доводил до конца усилия воли, если только внешняя необходимость (например, составление лекций) не вынуждала его выпускать труд в свет. Несомненно, читай он меньше, он создал бы больше. Формально-логическая дисциплина ума у Гамильтона не была *органически* связана с запасами знаний: „Он имел наклонность постоянно отыскивать формально-логические промахи у противников, нередко упуская из виду суть их аргументации" (См. Monck: „W. Hamilton", 1882. p. 12—13).

Однако, рассуждения Малебранша верны лишь по отношению к *неорганизованной* памяти. Лейбниц не обладал сильной *зрительной* памятью. Но „он читал много и отовсюду делал выписки, а также записывал свои мысли по поводу почти каждой достойной внимания книги на маленьких листках, но, записав их, откладывал их в сторону и *больше к ним не возвращался*, так как обладал удивительной памятью". Следовательно, не зрительной, а моторной, слуховой или моторно-слуховой, подобно Пуанкарэ, у которого была выдающаяся память (особенно на линии, на фигуры, на формы), но преимущественно моторная и слуховая. Бэкон, по словам Ramley, поручал секретарям делать выписки из древних авторов; прочитав их на ночь, он утром, после обдумывания ночью, прямо писал. Паскаль и Гуго Гроциус обладали, как указывает Гамильтон, ссылаясь на биографию

этих философов, феноменальной памятью (см. „Lectures on Metaphysics", v. II, p. 225; 1859).

У Канта, как предполагает Эйкен, была исключительной силы зрительная память („Bilder und Gleichnisse bei Kant"). По словам Боровского, Кант обладал редкой конкретной и словесной памятью (Sach- und Wortgedächtniss), достойной изумления силой внутренней интуиции и представливания. Он сохранил эту способность до 70-ти лет, цитировал поэтов, излагал исторические факты с величайшей точностью. Он однажды так описал англичанину Вестминстерский мост, что тот принял его за приехавшего из Лондона архитектора. На целом ряде философов можно видеть, как *сильная в детстве механичеекая память преобразуется впоследствии в менее сильную, но более организованную. Совершенно аналогичное явление* отмечает Бине в своем интересном труде „La psychologie des grands calculateurs et joueurs d'echecs" (1894) у знаменитых умственных счетчиков,—они очень рано проявляли свое дарование, но, по мере дальнейшего развития,—одни делаются выдающимися математиками и теряют отчасти свою способность к умственному счету (где играет важную роль *механическая память*), а другие остаются феноменальными счетчиками (следовательно, сохраняют и механическую память), а вне этой специальности обнаруживают посредственную интеллигентность. Фихте ребенком обладал изумительной слуховой механической памятью. Тоже мы наблюдаем у Шпира, который щеголял перед гостями уменьем цитировать буквально любое место учебника. Спенсер рассказывает, что у него в детстве была изумительная память на пространственные отношения,—он мог великолепно чертить на память карты, но позднее утратил эту специальную способность. Джон Стюарт Милль, несомненно, в детстве обладал изумительной конкретной памятью, ибо он к шести годам овладел греческим языком, а к одиннадцати латинским и, благодаря исключительным условиям воспитания, получил полный круг высшего образования до 15 лет. Однако, впоследствии, в зрелом возрасте, он отнюдь не обнаруживает сильной памяти на конкретные детали. Бэн пишет о нем: „У Милля не было много памяти на какие бы то ни было конкретные подробности; он прочел массу книг по истории, беллетристике, путешествиям и рассказам о приключениях, но *нельзя поручиться за точность факта*, сообщаемого им письменно или в разговоре. Он равно не умел воспроизводить конкретные факты ни в виде иллюстраций доктрин, ни в целях пояснительного указания. В юности он был отлично начитан в греческих и латинских классиках, но редко когда ему удавалось сделать на память удачную цитату. Путем непрестанного упражнения и по-

стоянных справок он накопил в памяти запас фактов по социологическим и политическим учениям. Эти последние находились постоянно в распоряжении его памяти" (см. A. Bain: „John St. Mill", 1882, p. 142).

Литтре пишет об Огюсте Конте: „Память Конта была чудовищна... Он массу читал в юности; после этого периода он не читал заново, не перечитывал книг: однажды приобретенный запас был ему достаточен для разработки произведения, при которой нужно было охватывать зараз (avoir présent à l'esprit) необ'ятное количество фактов из области точных наук и истории. Сила памяти послужила Конту могущественным дополнительным средством силе концепции. Вот как сочинялся им каждый из томов „Курса позитивной философии". *Он обдумывал тему в голове, никогда ничего не записывая*, от целого он переходил к отделам, от этих отделов к деталям. За общим планом следовал специальный план для каждой части. По окончании этой разработки, сначала общей, потом частной, он говорил, что том его готов. Это так и было, ибо, принимаясь писать, он, ничего не упуская из виду, подыскивал все идеи, составлявшие конструкцию его труда, в надлежащей связи и в надлежащем порядке".

XXV.

Как уже замечено выше, нельзя утверждать, что у великих людей может быть слабая память, но лишь временные патологические амнезии. Римский-Корсаков совершенно забыл, что уже оркестровал одно произведение. Якоби, как любезно сообщил мне акад. В. А. Стеклов, упоминает в „Лекциях по механике" об одном вопросе, забыв, что у него уже было написано на ту же тему исследование. Фарадей проделывал заново выполненные им уже ранее эксперименты. У Канта после 70 лет произошло значительное ослабление памяти. Все эти патологические случаи несомненно ровно ничего не доказывают против защищаемого нами положения, что для философского творчества не менее нужна сильная память того или иного типа. В раннем возрасте (от 8 до 13—14 лет) мы видели, что у философов проявляется унаследованная пластичность мозга, т. е, анатомофизиологическое свойство, от которого зависит механическая сторона памяти. Позднее пластичность ослабевает, но развивается внимательность и интеллектуальная сторона памяти, причем, как указывает Biervliet, *внимательность развивается быстрее, чем убывает прирожденная пластичность* (см. Biervliet. „La mêmoire", 1902, p, 117—118).

Американский психолог Болтон пытался *уяснить связь между силою памяти* (механической) *и одаренностью*. Он предложил группе

школьников воспроизводить на память ряд цифр, которые были показаны перед процессом воспроизведения. Всех испытуемых он разделил на три группы по общей успешности их в занятиях (учащиеся вполне успешно, удовлетворительно и не успевающие—*A*, *B*, *C*) и, с другой стороны, он разделил их на три группы по успешности в запоминании цифр (хорошо запоминавшие, удовлетворительно и неудовлетворительно). Результаты опытов выразились в следующей таблице:

	A	B	C
A	32,6	51	16,3
B	21,4	58,2	20,4
C	24,1	49,4	26,6

Горизонтальный ряд под буквою *A* обозначает процентное распределение учащихся по степени успешности запоминания в группе лучших учеников; ряд под буквою B—средних учеников, а ряд под буквою *C*—плохих учеников. Вертикальный ряд под буквою *A* образует группу наиболее успешно запоминавших из всех трех категорий учеников, в ряд *B* — группу менее успешно запоминавших среди всех учеников и т. д. Рихард *Бервальд* отмечает, как мало *лучшие* ученики превосходят *механической* памятью остальных (См. его „Theorie der Begabung").

Бинэ определяет корреляцию между градациями интеллигентности и силы памяти у школьников следующим образом. Предполагая, что дети одного возраста, например, 10-летние, но находящиеся в разных классах, один, скажем, в старшем, другой в среднем, а третий—в низшем, представляют нисходящие градации интеллигентности, он всем 10-летним школьникам в учебном заведении задал выучить одно и тоже стихотворение. Подлежащее заучиванию, заведомо понятное всем, было роздано в копиях по числу учеников. На заучивание (про себя) было дано 10 минут. Чрез этот промежуток времени листки были отобраны, и дети должны были воспроизвести заученное на память. Результаты опытов сводятся к тому, что дети ровесники (10 л.) из старшего класса заучивают лучше своих ровесников из среднего класса, которые, в свою очередь, превосходят

быстротою заучивания ровесников из младшего класса. Первая группа удерживает в тот же промежуток *вдвое больше* стихов и прозы (см. A. Binet: „Les idées modernes sur les enfants", 1910, p. 159—160).

Последняя известная мне экспериментальная работа о соотношении между *силою памяти* и *интеллигентностью у мужчин и у женщин*—это исследование Артура Котеса (Arthur Cotes: „Experiments on the relative efficiency of men and women in memory and reasoning". Psycholog. Review, 1917, № 2). Автор приходит к следующим результатам: 1) женщины явно превосходят мужчин в способности памяти удерживать и воспроизводить; 2) мужчины превосходят женщин, хотя и в менее значительной степени, в интеллектуальной работе (reason work); 3) оба пола отдают предпочтение работе памяти, но, относительно говоря, большее количество мужчин отдает предпочтение работе разума перед работой памяти. Само собою разумеется, что эти результаты, даже если признать постановку опытов правильной, нельзя еще возводить в универсальное психологическое обобщение. Исследования Сетсона над памятью у 500 белых (средний возраст—11 лет) и 500 черных (средний возраст $12^1/_2$ лет) детей в общественных школах в Вашингтоне показали, что у детей негров память на 18% лучше памяти белых, причем в то же время память у негритянских детей *была лучше их классных успехов*, и разница эта была значительнее, чем у белых детей, хотя маленькие негры стояли в умственном отношении в общем ниже их (см. Чемберлен. „Дитя", ч. II, стр. 193). Очевидно, в обоих случаях имеется расхождение между значительностью интеллигентности и силою механической, „неорганизованной" памяти.

Интеллектуальный момент выражается в том, что процесс запоминания ведется по известному плану: запоминаются не образы и слова, но мысли в известной логической системе, что само по себе служит рациональной мнемоникой в процессе заучивания и воспроизведения. Отдельные факты и частные истины в процессе запоминания сортируются в известные ряды и группы, составные части которых легко могут быть диссоциированы и включены в новые группировки. Что мышление и интеллектуальное творчество есть *комбинирование мыслей*, а не просто *образов*, об этом как будто забыли до самого недавнего времени подавляющее большинство психологов. До сих пор еще нет обстоятельной психологии *интеллектуальной памяти*. К числу немногих работ в этом направлении принадлежит исследование Финкенбиндера, к которому полезно обратиться, чтобы дать себе ответ на такой вопрос: *пользуются ли философы при работе интеллектуальной памятью, как вспомогательным средством, чувственным материалом в виде образов, слов и эмоций*, или возможна

чисто *интеллектуальная память*, комбинирующая между собой одни элементы чистой мысли? В современной психологии мы находим два прямо противоположных ответа на поставленный вопрос. Бюлер в работе „Tatsachen und Probleme zu einer Psychologie der Denkvorgänge“ (Archiv für d. g. Psychologie, XII, 1908, 24—92) утверждает, что существует не-образное сознавание отношений, воспроизведение полного смысла сентенции может быть опосредствовано „чистою мыслью“ без соучастия какого бы то ни было рода образов. Финкенбиндер в работе „Remembrance of problems and their solutions“ („The American Journal of Psychology“ 1914, January) доказывает как раз обратное—непрестанное участие в процессе припоминания решения проблем чувственных образов (особенно зрительных), схематических образов, одинаково при решении и конкретных, и абстрактных проблем, самых различных степеней ясности и устойчивости, и в связи с самыми разнообразными эмоциями—довольства, сомнения, смущения, отчаяния и т. д. Кто же прав в этом споре:—интеллектуалист Бюлер или его противник Финкенбиндер? Я убежден, что на почве психологии, путем отдельных наблюдений или экспериментации, этот вопрос *абсолютно неразрешим*, как неразрешим, например, на почве психологии вопрос, существует ли душа „сама по себе“, помимо чувственности. С философской точки зрения, „чистая память“, как и „чистая мысль“, есть логически необходимый момент в процессе мышления, который так же неотделим от чистой чувственности, как общее от единичного,—*они необходимые корреляты*. Можно бесконечно спорить, входила ли в Bewusstseinslage испытуемого чистая мысль, ассоциированная, помимо чувственных образов, с другою чистою мыслью, или к этим нечувственным „актам“ все же примешивались чувственные „психические подголоски“? Для нас подобная антиномия есть *выдуманная головоломка*. Попытка решить ее *экспериментально ставит психолога в безвыходное положение*.

XXVI.

Наряду с механическим и интеллектуальным моментом в процессе памяти следует еще подробнее остановиться на *интуитивной стороне*. Иногда мы схватываем памятью и удерживаем в сознании сложные целостные комплексы путем *созерцания* этих комплексов, причем *моторный* момент заучивания отодвинут на задний план. По-видимому, возможно *развить* в себе путем упражнения способность подобного удержания и конструировать при участии воображения в сознании целостные картины *внешнего мира* или *собственного*

прошлого. Бергсон, обративший внимания на интуитивное или мгновенное запоминание, рассказывает, как фокусник Робер Гуден упражнял своего сына в подобном запоминании: „Мы проходили с сыном, пишет Гудэн, довольно быстро перед магазином детских игрушек или каким-нибудь другим, бросали при прохождении внимательный взгляд на витрину, уставленную разнообразными товарами. Пройдя несколько шагов, мы останавливались, вынимали из кармана карандаш и бумагу и записывали, соперничая друг перед другом, число замеченных нами при прохождении предметов. Нередко случалось, что сын мой записывал до сотни". При этом как бы моментальном фотографировании целостного впечатления исключалось, по возможности, всякое детальное *истолкование* составных частей образа (См. Бергсон: „Интеллектуальное усилие", пер. Флеровой, стр. 10).

Такого рода целостное запоминание сложных образов безспорно всегда ценно в самых разнообразных сферах научного знания, в математике, особенно в науке со *сложно-конкретным* содержанием. Для географа весьма ценно развить способность *пространственной интуиции*, для историка—*временной*, для натуралиста прежде всего важно уметь воспроизводить *сложные формы об'ектов*, для экономиста—*схемы и синоптические таблицы* и т. п. Подобное развитие интуитивной памяти и природную *потребность* упражнять ее мы находим у целого ряда ученых. Известный статистик и географ *В. Семенов-Тяньшанский* любезно сообщил мне о себе следующее: „В глубоком моем детстве над кроваткой моей висела немая карта Африки. Заинтересовавшись тем, что на ней изображено, я, со слов старших, усвоил географию Африки. В то время (когда мне было лет пять) моего отца посетил Леруа-Больe, и отец произвел надо мной такой опыт: он разостлал на полу эту стенную карту вверх ногами и посадил меня на нее. Леруа-Больe производил мне по французски подробный экзамен по географии Африки, и я, ползая по карте, выдержал экзамен безошибочно, совершенно не подозревая в наивности о каком-либо своем успехе. Затем у меня появилось какое-то бессознательное *стремление* упражнять свою память, и я не нашел ничего лучшего, как с *необычайной быстротой* выучить наизусть длинный алфавитный указатель, подаренной мне кем-то, естественной истории, а затем с такой же легкостью усвоил по путеводителям железнодорожные станции".

По словам биографа *Карла Маркса* Лафарга, Маркс, узнав на лекциях Гегеля о существовании у детей целостного процесса запоминания сложных комплексов представлений (напр., ряда слов) и о возможности развить в себе такую способность, занимался подобными

упражнениями. *Шлиман* в своей автобиографии рассказывает, что лет 20 он остро почувствовал пробелы и недостатки своего образования и временное ослабление памяти, вызванное болезнью, в то же время он чувствовал неудержимую потребность в развитии именно *интуитивной* памяти, и он с поразительной легкостью запомнил наизусть чуть не всего „Телемака“. Обладание интуитивной памятью, *сочетаясь с высоким и разносторонним умственным развитием*, даст проницательность. Проф. Б. В. Фармаковский подтверждает это яркой иллюстрацией—творчеством историка искусства *Фуртвенглера*. С одной стороны, при колоссальной работоспособности, он обладал *„верностью памяти“*, позволявшею ему все время работы иметь в виду и пользоваться тем колоссальным количеством памятников, которые он видел и изучал (Фармаковский: „Адольф Фуртвенглер“. Некролог. „Гермес“, 1908). С другой стороны, Фуртвенглер стремился к широким обобщениям и обладал мощным комбинационным даром—искусством сближать между собою обособленные и далеко отстоящие друг от друга, диспаратные ряды мыслей и фактов. До Фуртвенглера, по словам проф. Фармаковского, в истории искусства не было достаточно тесно связана область изучения *памятников пластики с литературными памятниками*, не удавалось ясно определить, „какие из сохранившихся памятников возможно было бы ставить в связь с тем или другим художником, известным по текстам“. (Ib., 8). При необычайной силе памяти и тонко развитой наблюдательности, Фуртвенглер оказался в состоянии придать всей истории античной пластики чрезвычайно яркий и осмысленный вид, благодаря искусному комбинированию между собою данных, почерпнутых из *текстов* и из самых *произведений искусства*.

Об известном английском геологе *Вильяме Смитт*, который в ранней юности заинтересовался землемерным исскуством, а впоследствии стал знаменитым составителем геологической карты Англии, Смайльс пишет: „Смит обладал как бы особенной способностью *проникать умственным зрением далеко под земную кору*, для него казалось были открыты все фибры земли и весь ее скелет, вся земная организация как бы была им угадана... однажды он продиктовал Ричардсону различные слои земли в нисходящем порядке числом 33, начиная с мела и кончая углем, под которым слои тогда еще не были определены, как следует. К этому он прибавил список более замечательных ископаемых, находящихся в различных слоях почвы. Все это было издано в 1801 году. Однажды Смитт изумил Ричардсона, внезапно смешав всю коллекцию ископаемых и быстро восстановив их порядок по слоям (Смайльс: „Самодеятельность“ 1868, стр. 185—190).

Остроградский обладал способностью совершенно исключительной *„визуализации“*: он мог при чтении лекции охватывать в одной *целостной интуиции* весь сложный ряд доказательств: „Это был превосходный лектор, причем достоинство его лекций много зависело от расположения духа. Некоторые из слушателей Остроградского между прочим передают, что иногда он *целую лекцию по механике или высшей математике читал, не прибегая к доске*, если даже приходилось вводить и сложные формулы“ (См. Т. Трипольский: „Михаил Васильевич Остроградский“, Полтава, 1902 г. стр. 66-я).

У историка многолетнее изучение жизни какого-нибудь народа и общего исторического процесса дает возможность *мгновенного воспроизведения* длинного ряда событий и хронологических дат в одной целостной интуиции, причем эти даты, разумеется, не вызубрены механическим повторением написанного на бумажке. Историк настолько *вжился* в изучаемые им явления, что может *развернуть* в конспективной форме длинную цепь событий в непрерывный образный или символический ряд. Здесь происходит нечто подобное *демонстрации в кинематографе роста растений*. Про Маколея его биограф пишет: „Однажды в столовой Британского Музея сэр Дэвид видел, как Маколей вручил лорду Эбердин бумажный картуз (a sheet of fools cap),— четыре страницы были сплошь исписаны в три столбца. Этот документ с еще сырыми чернилами представлял полный список „senior wranglers“ в Кембридже с датами их рождения и смерти и указаниями колледжей, где они учились, в течении ста лет, за которыя их имена помечены в университетском календаре. Другой раз сэр Дэвид спросил: „Маколей, знаете ли вы ваших пап?“ — Нет,—ответил знаменитый историк:—я всегда путаюсь в Иннокентиях (I am always wrong with Innocents). „Ну, а можете вы перечислить архиепископов кентерберийских?“ „Всякий дурак сумеет вам перечислить задом наперед архиепископов кентерберийских“. И он стал почти без передышки называть их, остановившись лишь раз, чтобы отметить курьезное созвучие имен Бэнкрофт и Сэнкрофт,—пока сэр Дэвид не остановил его на Кранмере. В первом случае, т. е., при припоминании колоссального списка имен в календаре, мы, вероятно, именно имеем пример фотографической или интуитивной памяти, во втором - мгновенное интуитивное построение ряда, который, быть может, никогда прежде не воспринимался зараз и не заучивался. Маколей очень гордился своей феноменальной памятью и не любил, когда другие подчеркивали слабость своей памяти. В одной книге у него имеется пометка по адресу таких лиц: „Они, повидимому, так рассуждают: Чем сильнее память, тем слабее изобретательность“

the more memory, the less invention (см. Trevelyan: „Life and letters of Lord Macaulay", 1876, II), Кондорсе в Eloge, посвященной Эйлеру, рассказывает, что Эйлер обладал совершенно необычайной способностью и самым сложным вычислениям в уме. Занимаясь со своим внуком извлечением корней, Эйлер составил себе таблицу первых шести степеней всех целых чисел от 1 до 100 и запомнил ее в точности. Двое из его учеников один независимо от другого вычисляли до 17 члена довольно сложный сходящийся ряд. Результаты работы, произведенной обоими письменно, разнились на одну единицу в пятидесятой цифре. По их просьбе Эйлер проверил их вычисление *в уме*, и результат, полученный им при проверке оказался верным (Introduction à l'analyse des infiniment petits, вступит. статья Кондорсе, 1786 г. стр. 35-я) (р. 201—2). Разумеется, в формировании подобных сложных интуиций играет существенную роль и конструктивное воображение, но даже при буквальном заучивании (при участии повторных *двигательных процессов*), как показали экспериментальные исследования Меймана, выгоднее путь от схватывания целого к усвоению частей, а не наоборот.

Вот еще интересный пример, на котором видно, как из интуиции собственного прошлого постепенно зарождается потребность написать автобиографию.

Приступая к писанию своей автобиографии („Из дальних лет", 1878), Т. П. Пассек описывает, при каких обстоятельствах в ней *зародилась мысль написать свои воспоминания*. В 1860 г. она потеряла сына (ей было 47 лет); его смерть страшно потрясла ее, душевные страдания продолжались годы („Я дотронулась до гроба... как я не умерла у гроба, не знаю"). И вот однажды летом в деревне, томясь от „праздного горя", она внезапно нашла выход из тягостного состояния. „Раз в половине лета, оставшись одна, прилегла я в гостиной на диване. Вокруг меня не было ни звука, ни движения, только из дальней пустоши доносилась песня и как бы удваивала тишину. Полуденное солнце, пробираясь сквозь занавесы, опущенные на раскрытые окна и двери балкона, наполняло комнату мягким полусветом. Гармония и глубокое спокойствие целого отозвались благотворно на больной душе моей. Я отдыхала и задумалась о былом. Образы, ушедшие в вечность, возникали перед моим внутренним взором и так радостно обступали меня, что мне жаль стало расстаться с ними, захотелось удержать эти духовные виденья,—это возможно,—думала я,—и они не сны, они жизнь, моя жизнь, я облеку их в живые слова, и, помимо себя, они останутся со мною, спасут меня, воскрешат жизнь „из дальних лет", — и стала писать воспоминания. Кар-

тины прошедшей жизни последовательно выдвигались одни за другими и с каждым днем становились ясней и отчетливей, вместе с ними как-будто ожила и я" („Из дальних лет", 1878, стр. 32—33).

XXVII.

В заключение остановимся еще на одном обстоятельстве: загадочные болезни памяти—явления *гипермнезии* и *парамнезии—послужили толчком к развитию, а, может быть, и зарождению метафизических изобретений-догадок* в духе мистического спиритуализма.

Уже в XVIII в. (а, может быть, и раньше) было обращено внимание на то, что впоследствии было названо *панорамическим видением* умирающих. Наблюдения подобного рода были, насколько мне известно, впервые собраны Фехнером в III томе его книги „Zend-Avesta". В виду сравнительно малого количества описаний этого явления, я приведу одно из наблюдений, собранных Фехнером, и покажу, какое он дает им истолкование в пользу своего учения о бессмертии души. Пастор Керн в 1733 г. (в Гальберштадте) рассказывает: „Иоганн Швертзегер, после продолжительной и мучительной болезни, почувствовал приближение смерти. Он причастился и в просветленном состоянии приготовился к смерти. Вскоре он впал в обморок, продолжавшийся около часа. Придя в себя, он ничего не говорил. Потом наступил второй обморок, продолжавшийся несколько дольше... Дня через два он впал в третий обморок, продолжавшийся четыре часа. Придя в себя, он велел призвать снова духовника и обратился к нему со следующими словами: „Ах, какую я выдержал борьбу!". Больной обозрел всю свою жизнь и все совершенные им грехи, даже такие, которые совершенно ускользнули из его памяти. Все предстало перед ним как бы совершающимся в настоящем. В заключение рассказа он сообщил, что слышал прекраснейшие звуки и видел несказанный свет, что привело его в блаженное состояние. Пастор отмечает поразительно бодрый вид у больного и необыкновенную просветленность взора. Больной сказал, что он через два дня умрет, что и случилось" („Zend-Avesta, oder über die Dinge des Himmels und des Jenseits vom Standpunct der Naturbetrachtung", B. III, S. 27—29). Фехнер полагает, что подобные факты подтверждают его гипотезу, будто при наступлении физической смерти дух человека не уничтожается, но *со всеми своими воспоминаниями* включается в некоторое высшее сознание, в котором продолжает жить. Свидетельства, на которые ссылался Фехнер, могли бы показаться довольно сомнительным источником, еслибы они не находили себе полного

подтверждения в новейших наблюдениях представителей экспериментальной психологии. Так, Бирфлит (Bibliothèque internationale de la psychologie experimentale, van Biervliet: „La mémoire“, 1893, p. 185) и Пиэрон (Piéron: „Evolution de la mémoire“, 1910) указывают, что нередки случаи, когда в минуту внезапной смертельной опасности, при сильном страхе (напр., при утопании), происходит не ослабление, а внезапное усиление воспроизводящей памяти, и панорамически развертывается прошлое, начиная с ранняго детства. Моя мать (англичанка), тяжело больная, за несколько месяцев до смерти, однажды ночью спросонок встала с постели, пошла по комнате, упала и сильно ушиблась. Впоследствии она рассказывала мне, что в момент пробуждения после падения на ковер она вспомнила английские „nursery rimes“, подобные нашим:

Раз - два — упала гора,
Три - четыре — прицепили,
Пять - шесть — кашу есть и т. д.:
Three - four — open the door,
Five - six — lay the sticks,
Seven - eight — keep them straight... ete.

Это было ее первым воспоминанием детства, быть может, начало панорамического видения. Панорамическое видение прошлого в минуту смертельной опасности представляет не только психологический, но и обще - философский интерес, на что обратил впервые внимание Эггер в статье: „Le moi des mourants“ (Revue philosophique, 1896, I, 26—28). Он приводит свидетельство одного швейцарского ученого Гейма о переживаниях туристов в горах в минуту падения, угрожающего смертью. Сам Гейм пережил подобное состояние и описывает его следующим образом: „Чтобы описать пережитое мною в течение нескольких секунд падения, мне пришлось бы вам рассказывать целый час. С необычайной точностью и ясностью передо мною проносились образы и мысли“. Приведя далее некоторые мысли свои о средствах ослабить гибельную силу падения, он прибавляет: „Затем я обозрел *все* факты моего прошлого, проносившегося предо мною в виде неисчислимого количества образов“. Ограничивая слово „все“ добавлением „важнейшие“, Эггер вполне принимает подлинность описываемого факта, что однако не дает ему повода придавать подобным явлениям метафизическое толкование в духе Фехнера.

Эггер описал *панорамическое видение прошлого*, Соллье (Revue Philosophique, 1896) пробует дать ему психофизическое об'яснe-

ние. По его мнению, здесь точнее было бы говорить не о реакции нашего „я“ против смерти, но перед представлением об угрожающей смерти. При этом нужно принять во внимание различные случаи: 1) вызывается ли данное состояние воздействием преклонного возраста и прогрессирующего ослабления сил, 2) или влиянием продолжительной хронической болезни, 3) или неожиданным физиологическим нарушением равновесия, 4) или воздействием неожиданной случайности на совершенно здорового человека. При этом, сверх того, должно принять во внимание возраст, интеллигентность, эмотивность и *степень развития чувства личности* у наблюдаемого суб'екта (son degré de personnalité). Соллье, как позднее и другие, отмечает, что в подобных случаях панорамический образ прошлого далеко не всегда возникает, а, когда возникает, то в наблюденном им случаѣ вся картина прошлого рисуется в виде не развертывающейся панорамы, но в виде *одновременной интуиции*. Именно такое явление он наблюдал у одной дамы-морфиноманки при наступлении обморочного состояния, угрожавшего смертью. Чувство *блаженства*, испытываемое в данном состоянии, сводится главным образом к потере *осязательной и болевой чувствительности*,—последнее является причиной первого. В минуты, угрожающие наступлением смерти, наше внимание конвульсивно сосредоточивается на том, в чем мы видим *источник* опасности, и *на нашем „я“*, и мы, как бы перестаем чувствовать наш организм, напрягая в то же время зрение и слух. Тогда с особенной легкостью всплывают воспоминания, касающиеся самого *существа* нашей личности, в одном сложном образе.

Бирфлит в своей книге: „La memoire“ подтверждает описанное здесь явление. По его словам, Winslow и Rouillard приводят подобные же случаи *гипермнезии при травматизме физическом или моральном*, как выражается Бирфлит—панорамическое видение прошлого при утопании и при лежании вдоль рельс под быстро мчащимся поездом, а также живые воспоминания 15-летнего мальчика об операции трепанации черепа, перенесенной на 4 году, операции о которой он ничего не помнил, но которая вспомнилась с мельчайшими подробностями обстановки в горячечном бреду.

Другое болезненное явление в области памяти—это *парамнезия* в форме так называемого „sensation du dèjà vu“, когда в известный момент мне внезапно кажется, что все переживаемое мною уже „было когда-то, не только не помню когда“. Это явление было давно подмечено художниками и тонко описано в ряде художественных произведений (Диккенс: „Давид Копперфильд“, Л. Толстой:

„Война и Мир“, А. Толстой: „По гребле неровной и тряской“, Верлэн: „Kaléidoscope“, Лоти: „Roman d'un enfant“ и т. д.). Вот как описывает это состояние Верлен в стихотворении „Калейдоскоп“.

Dans une rue au coeur d'une ville de rêve
Ce sera comme quand on a déjà vecu
Un instant à la fois très vague et très aigue,
O, ce soleil parmi le brume qui se leve!
O, ce cri sur la mer, cette voix dans les bois!
Ce sera comme qnand on ignore des causes,
Un lent reveil après bien de metempsychoses
Les choses seront plus les mêmes que l'autrefoi.
Dans cette rue au coeur de la ville magique,
Où les orgues moudront les gigues dans les soirs,
Où des café's auront des chats sur les dressoirs,
Et que traverseront des bandes de musique,
Ce sera si fatal, qu'on en croira mourir.

Есть многочисленные попытки об'яснить эту иллюзию психологически. Наиболее глубокой и остроумной попыткой является попытка Бергсона, но мы не будем здесь разбирать ее, а отметим только, что эта иллюзия связана с временным понижением нормального для данного лица *психического уровня* и потому часто наблюдается в минуты чрезвычайной усталости или при психастении. Между тем, парамнезия описанного рода давала повод к зарождению метафизической и мистической гипотезы о „мирах иных“, о которых душа как бы вспоминает в некоторые исключительные моменты жизни. Вследствие этого она являлась как бы суб'ективным подтверждением, а может быть, и одним из мотивов для зарождения учения *о переселении душ* и *о вечном круговороте*. Мы не имеем никаких положительных данных утверждать, что идея переселения душ в своем первоначальном зарождении в древних религиозных и философских учениях возникла именно в связи с описанным явлением, и, когда, например, Эмпедокл говорит, что он был растением, птицею, рыбою, мальчиком, девочкой и т. п., то мы не можем решить, есть ли это в его устах лишь отражение пиѳагорейского лейтмотива, или тут сыграли роль и известные суб'ективные переживания. Однако, последнее допущение не лишено правдоподобия. Проф. С. Г. Елисеев рассказывал мне, что при посещении одного буддийского монастыря в Японии он при взгляде на видимую им впервые местность почувствовал на несколько секунд, что он как будто бы был здесь когда-то, и сообщил об этом переживании монахам; они с удовольствием выслушали его рассказ и тотчас сообщили ему свои религиозно метафизические комментарии к этому явлению, об'яснив проф. Елисееву, что его душа, очевидно, была здесь когда-то раньше в другом воплощении.

Связь учения о метемпсихозе с парамнезическими переживаниями совершенно очевидна у Гердера, взгляды которого по данному вопросу опровергает Радищев в своем труде: „О человеке, его смертности и бессмертии“. Гердер пишет: „Das sind also Augenblicke der süssesten Schwärmerei und Sondernheit bei schönen milden Luftorten, bei angenehmen Augenblicken des Umgangs mit Personen die wir unvermuthet sind und sanft getäuscht in uns oder uns in ihnen gleichsam aus einer früheren Bekanntschaft fühlen, Erinnerungen aus dem Paradiese... Die Palingenesie ist also richtig... etc. (См. мою работу „Философские воззрения Радищева“, приложенную к полному собранию сочинений Радищева, т. II, изд. Акинфьева). Идея *„вечного круговорота“*, также древнего происхождения, в новейшее время высказана Бланки и Ницше, и, я думаю, связана не только с философским образом мыслей обоих мыслителей, но и с миром их эмоциональных переживаний. Вынужденное одиночество у первого—тюрьмой, у второго—болезнью влекло за собою ту надломленность духа, при которой наблюдается описанное выше психастеническое sensation du déjà vu, и не лишено вероятия, что оно сыграло известную роль в процессе образования их философских концепций.

Для того, чтобы оценить надлежащим образом значение памяти в процессе научного изобретения, надо отрешиться от предрассудка считать память *исключительно* познавательным процессом. Недостаточно говорить об *аффективной* памяти, как особом виде памяти. Нужно иметь в виду, что различные *виды* памяти у данного лица связаны генетически с различными его *наклонностями*, как унаследованными и инстинктивными, так и приобретенными и привычными. На глубокую связь памяти с инстинктами указал в замечательной статье Риньяно: „De l'origine et de la nature mnémonique des tendances affectives“. (См. книгу: „Essai de synthèse scientifique“, 1912, p. 85). Но об этой стороне памяти, ее *чуткости* (sagacitas) мы будем говорить в связи с рассмотрением роли *инстинктов* в научном и философском творчестве. (См. т. II-й, главы: III-ю, IV-ю и V-ю).

Глава V.

Творческое воображение.

XXVIII.

Творческий дух есть „Geist der stets verneint“. Оригинальный мыслитель диссоцирует привычные связи мыслей. Он разрушает кажу-

щееся сходство явлений A и B и вскрывает более глубокое внутреннее сходство между, повидимому, совершенно несходными явлениями C и D. Можно поставить вопрос, от чего зависит вероятность удачного сближения двух идей в творческом процессе, идей, которые ранее никогда не сопоставлялись, ибо, ведь, диссоциация порождает новую ассоциацию. Для этого, как мы видели, необходима сильная от природы и правильно организованная путем систематического упражнения память. Такая память обеспечивает *яркость* комбинируемых образов и *отчетливость* комбинируемых мыслей. Но, кроме этого, нужны: 1) *Широта комбинационного поля воображения.* На это обстоятельство указывает целый ряд философов. Мы видели, что Литтре отмечает у Конта способность „avoir présent â l'sprit" колоссальное множество мыслей. Точно также Малебранш пишет о философах: „Нужны большие способности, чтобы найти какую-нибудь истинную систему, ибо недостаточно обладать большою живостью и проницательностью, а нужна еще известная *глубина и обширность ума для того, чтобы дух мог обозреть разом множество вещей.* Средние умы при всей живости и остроте своей недостаточно сильны, чтобы увидеть все, необходимое для установления какой-нибудь системы" („О розыскании истины", I, 225). 2) *Подвижность* элементов в комбинационном поле воображения. Дабы сознание могло охватить зараз и сопоставить множество образов и мыслей, необходимо, чтобы в сравнительно небольшой период времени через поле сознания прошло множество мыслей, входящих в системы упорядоченных единств. Необходимо периодически делать *синопсис, смотр* своим идеям, производить „сбор всех частей". Именно это имеет в виду одно из методологических указаний Декарта: „Надо повсюду производить столь полное перечисление и столь всеобщее обозрение, чтобы быть уверенным, что ничего не пропущено". Таким путем соблюдается нетолько *логическая полнота,* но и *психологическая экономия работы.* Подобные синопсисы являются одинаково ценными для всех родов изобретателей,—для техников, и для философов. Вот что сообщает Энгельмейер об изобретателе центробежного насоса Аппольде: „Когда перед ним вставало затруднение, то он имел привычку подробно обсуждать поставленную перед собою задачу. Затем он направлял внимание на простейшие способы, посредством которых можно было бы получить желанный результат. С этой целью он *вызывал в уме своем в продолжение дня все факты и принципы,* относящиеся к данному случаю, и обыкновенно разрешение задачи приходило к нему рано утром, тотчас после сна" („Творческая личность и среда в области технических изобретений", 1911 г., стр. 24-а). Этой потребностью в

быстром обзоре всех накопленных знаний в *акме* процесса творчества, я думаю, об'ясняется та быстрота работы, которая иногда замечается у философов. „Раз взявшись за перо,—пишет Литтре (продолжение вышеприведенной цитаты), Конт уже не мог расстаться с ним, и каждый из этих толстых томов системы позитивной философии *были набросаны единым духом.* Как только у него накапливалось достаточное количество листков, чтобы доставить достаточный материал типографии, не задерживая в дальнейшем перерывами набор, он отдавал эти листки в печать, не делая во время корректуры никаких поправок и держа всего одну корректуру" („Gruber" „Auguste Comte", фр. пер., стр. 78—79).

Подвижность ассоциаций в сочетательной работе творческого воображения должна быть различной у людей творческой отвлеченной мысли и у людей *действия*—hommes d'action. Математик или философ может годы обдумывать свой труд, ему нечего торопиться, он не связан в творческом процессе заданным наперед сроком, для него нет обстоятельств, не терпящих отлагательства. Иное дело творческая деятельность полководца или политического вождя, которая требует *исключительной быстроты* изобретательности и уменья немедленно провести замысел на деле. Вот почему умозрительные творческие натуры, по словам Аристотеля, имеют большею частью меланхолический темперамент, т. е. реагируют на внешние впечатления *медленно и сильно,* а люди действия, по словам Канта и Лесгафта, нередко принадлежат к холерическому темпераменту с *быстрой и сильной* реакцией. Вот почему, быть может, ученые и философы в роли политических вождей попадают не в свои сани—

Hundert funfzig Professoren,—
Vaterland, du bist verloren!

Шахматная игра, согласно индийским сказаниям, возникла, как *субститут* братоубийственной войны, и способности игрока в известном смысле *изоморфны* способностям полководца. Это обстоятельство дает повод д'Аламберу противопоставить одаренность ученых математиков и игроков „на срок".

Фантазия философа отличается от фантазии художника тем, что он комбинирует *не образы, а мысли,* хотя и через посредство образов и символов; каждая из этих мыслей входит в упорядоченное логическое единство, и все мысли, сочетаемые его творческой фантазией, направлены к известной *всеобъемлющей цели.* 12 лет научная фантазия Канта двигалась в известном намеченном им направлении чтобы *кристаллизоваться* в великую книгу в течение полугода. В

творчестве философа неразрывно связаны два момента: *преднамеренный*, умышленный, зависящий от разума и воли, и *непреднамеренный*, стихийный, смутно-сознательный. 1) Творческому процессу предшествует многолетняя подготовка в виде упорядочения всего комплекса психических наклонностей в сторону будущей научной деятельности,—все конвергирует к одной будущей цели. При определенном специальном замысле работа духа сосредоточивается на том, что нужно для его осуществления. Это та черта *саморуководительства*, которую отмечает д-р Тулуз так ярко выраженной у Пуэнкаре, приобретение соответствующих знаний, интеллектуальных навыков, выработка отчетливости понятий, усвоение различных технических приемов в данной работе и об'единение всего этого в синтетическое единство апперцепции, в связи с уверенностью в прочности и обоснованности приобретенных знаний. 2) Непреднамеренная сторона творчества заключается в фантазировании, пробовании, свободной игре ассоциаций. Она, в свою очередь, проявляется в двоякой форме: a) в виде фантазирования и мечтательства *на яву* и b) в виде творческих грез *во сне*. Спенсер пишет: „Наклонность строить воздушные замки, надо полагать, считается вредной, однако, я отнюдь не уверен в этом. В умеренной степени она мне представляется благодетельной. Ведь это *игра конструктивного воображения*, а без последнего нет завершения духовного развития. Я думаю, что во мне эта наклонность возникла из самопроизвольной активности духовных сил, которые в последующей жизни послужили средством к более высоким достижениям“ („Автобиография“).

На творческой работе научной фантазии во сне я позволю себе остановиться несколько подробнее в виду существующих разногласий по этому вопросу.

Мистические писатели — Кардан, Бурдах, Сковорода, склонны видеть в сновидных грезах творческие откровения высшего порядка. Между тем, то, что они приводят в виде образчиков подобных откровений, *или не нуждается в мистическом об'яснении или вовсе не есть ценное изобретение.*

Кардану дух сообщил per somnum следующую бессмыслицу: „Te sin cosâ et Lamant id de vita quatuor annorum ex responsione simii? Et de vermicolis qui in sentellis apparuerunt?“

Бурдах пишет следующее: „При приступах истощения, являющихся обыкновенно предвестниками нервной горячки, мне во сне представлялись научные проблемы, которые я не в силах был решить, и которые мучили меня до самого пробуждения; при новом засыпании начиналась новая мука. Мне нередко во сне приходили в голову

научные догадки, представлявшиеся мне столь важными, что я пробуждался. В виду того, что я такие случаи отмечал до того, как опыты, произведенные над собою, я заметил, что они почти всегда приходились на летние месяцы. Нередко эти сны относились к предметам, которыми я в то время занимался, и которые всеже по своему содержанию были совершенно чужды мне". Так, например, во время работы над мозгом ему приснилось, что „die Umbeugung des Rückenmarks zum Uebergange ins Gehirn bezeichne den Gegensatz beider durch das Durchschneiden ihrer Axen und durch das zusammentreffen ihrer Strömungen in einem Winkel, der beim Menschen mehr als bei Thieren einem rechten sich nähere und die eigentliche Bedeutung der aufrechten Stellung enthalte"... 11 октября 1818 г. ему приснилось: „Die Gestalt der Fornix wird durch die des Staburanzes bestimmt der vorn weiter nach hinten trete, hinten mehr divergiere".

„Порой однако эти догадки касались таких предметов, о которых я в то время вовсе не размышлял, и отличались почти всегда еще большей смелостью. Так, например, в 1811 г., когда я еще твердо придерживался обычных воззрений на кровообращение и на меня по данному вопросу не оказывали никакого влияния воззрения какого-нибудь другого лица, а сам я, вообще говоря, был занят совсем другими вещами, приснилось мне, что кровь течет своей собственной силой и впервые приводит в движение сердце, так что рассматривать последнее, как причину движения крови,—это все равно, что об'яснять течение ручья действием мельницы, которую именно он приводит в движение. Приведу еще одну из таких полуистинных догадок, доставивших мне такое большое удовольствие во сне: 17 июля 1822 г. я подумал во время послеобеденного сна, что сон, как и удлинение мышц, есть возвращение в себя (ein in sich gehen), которое заключается в упразднении противодействия; я проснулся с чувством полного прояснения, которое, казалось мне, эта мысль распространяла на широкий круг жизненных явлений, но тотчас же все погрузилось снова в сумрак,—до того чужд был для меня подобный взгляд" (Radestock: „Schlaf und Traum", S. 183).

В. Эрн в своей книге о Григории Сковороде приводит сон Сковороды, который ставит, по его значению для человечества, выше великих изобретений, приснившихся Декарту в 1619 г. Вот сон Сковороды: „В полночь ноября 24 числа 1758 г. в селе Коврай казалось во сне, будто я рассматриваю различные охоты житья человеческого по разным местам. В одном месте я был, где царские чертоги, наряды, музыка, плясание, где любящиеся то пили, то в зеркала смотрелись, то бегали из покоя в покой, снимали маски,

садились на богатые постели и прочее. Оттуда повела меня сила к простому народу, где такие же действия, но особенным образом и порядком производились. Люди шли по улице со скрипицами в руках, шумя, веселясь, шатаясь, как обыкновенно в черном народе бывает, также и любовные дела сродным себе образом происходили у них. Тут, поставя в один ряд мужеск, а в другой женский пол, рассматривали, кто хорош, кто на кого похож, и кому достоин быть парою. Наконец, сила ввела меня в храм некий обширный и прекрасный; тут якобы в день сошествия Св. Духа служил я литургию с диаконом и помню, что провозглашал: „Яко свят еси, Боже наш“ и пр. до конца. При сем по обоим хорам пето было протяжно „Святый Боже“. Сам же я с диаконом, перед Престолом, до земли кланяясь, чувствовал внутреннее глубочайшее удовольствие, которого изобразить не могу. Однако, и тут человеческими пороками осквернено: сребролюбие с кошельком тискается и, самого священника не минуя, почти вырывает в складку. От мясных обедов, которые в союзных почти храму комнатах отправляемы были, и в которые из алтаря многие двери находились во время литургии, дух проникает до самой святой трапезы. Тут я видел следующее ужасное позорище. Как некоторым недоставало к яствию птичьих и звериных мяс, то они одетого в черную ризу человека, имевшаго голые колена и убогие сандалии, убитого в руках, держа при огне колена и икры жарили и мясо с истекающим жиром, отрезывая и отгрызывая, жрали и сие делали акибы некоторые служители. Я, не стерпя смрада и свирепства, отвратил очи и вышел. Сей сон не меньше устрашил меня, как и усладил“ (см. В. Эрн: „Сковорода“, 1912 г., стр. 97—98). Я должен прежде всего сказать, что сон этот производит на меня впечатление проповеднической параболы, и если Сковорода и впрямь *его видел, то всеже сильно „стилизировал“. Но даже если допустить, что он записан им совершенно точно, то всеже он не заключает* в себе решительно никакого философски значительного *для нас*, для человечества, изобретения, хотя он мог быть „вещим“ в духовном и моральном развитии самого Григория Саввича.

XXIX.

Если одни психологи *склонны придавать* сновидной фантазии какие-то сверх'естественные свойства, то другие, наоборот, готовы отрицать за нею всякую способность к творческой продуктивности. Так думает, например, Шпитта, *начисто* отрицающий в качестве выдумок все случаи *изобретения* во сне. Другие, как И. Г. Оршанский,

пишут: „Известны случаи, когда во сне сочинялись стихи, решались математические задачи и т. п. Такие случаи принадлежат к *патологическим*“ („Сон и бодрствование с точки зрения ритма“. 1878, стр. 119). Окс оспаривает патологичность подобных случаев. Совершенно правильны, думается мне, соображения Радестока: „Легко видеть, что в подобных случаях активность умственных способностей не может быть отнесена на счет сна, но что она является *отголоском жизни бдения* и доказывает только для человека важность сна, устраняющего ослабление сил. *Элементы, долженствующие образовать новую мысль, уже имеются в готовом виде,* но утомленный дух был не в силах в бодрственном состоянии их об'единить; как только сон оказал противовес утомлению, эти элементы приобретают новую силу репродукции, подвергаются меньшему влиянию со стороны чувственных впечатлений, нежели днем, они остаются в большей степени изолированными и могут в большей степени развернуть внутрь и вглубь таящиеся в них зародыши мыслей, также и самосознание не сочетает их принудительно в известные связи, но они притягиваются друг к дружке в силу избирательного сродства и образуют иногда более чистый продукт кристаллизации“ („Schlaf und Traum“, S. 184).

Весьма замечательно, что этот правильный путь к научному истолкованию интересующего нас вопроса наметил вполне отчетливо Аристотель. При об'яснении состава сновидений он принимает во внимание влияние на них господствующих помыслов, настроений и стремлений спящего и из этих данных об'ясняет *прогностический* характер сновидений. Заодно с просвещенными врачами древности, он отмечает „вещую“ природу снов в смысле обнаружения симптомов начинающейся болезни, но *„разумно и художникам, обдумывающим что-нибудь и философствующим руководиться сновидениями“*. Εὔλογον δὲ οὕτως ὑπολαβεῖν καί τοῖς τεχνήτοις μὲν σκοπουμένοις ες τι καὶ φιλοσοφοῦσι. Беккер так поясняет это место: „Dicit autem Aristoteles etiam artifici atque philosopho animadvertendum esse in somnia, videlicet quod *multa subtiliora clariusque tum apparent ut liberior phantasia audaciores submiscet imagines*“, что вполне согласуется с дальнейшим контекстом главы, у Аристотеля (см. Aristoteles: De somno et vigilia, de insomniis et divinatione per somnum libri., изд. под ред. Беккера, 1823 г. глава первая, строки 35—37 и далее до конца главы, стр. 67).

Многие психологи рассматривают догадку во сне, как продукт *бессознательной* психической деятельности. Так смотрит сам Лейбниц, упоминающий о том, что во сне мы легко и непроизвольно изобретаем то, что наяву потребовало бы многих размышлений.

(„Principes de la nature et de la grâce"). Дюга в статье: „Le sommeil et la cérébration inconsciente", (Revue Philosophique, 1897, I, 410) оспаривает этот взгляд и предполагает, что в процессе изобретения участвует смутная работа сознания, поставленная на известные рельсы предшествующей подготовкой. Бергсон и другие психологи тоже вполне основательно предполагают, что подобные процессы происходят обыкновенно при *не очень глубоком сне*. Некоторые (Hammond) полагают, что в подобных случаях даже имело место пробуждение ночью (см. Jewell. „The psychology of dreams", American Journal of Psychology, 1905). Мы думаем, подобно Дюга, что нет никакой надобности для об'яснения подобных явлений прибегать к гипотезе „бессознательной психики". Полная несостоятельность ее показана мною в статье: „Э. фон-Гартманн", Р. Мысль, 1906 г. Во сне имеют место: 1) *припоминание* совершенно забытых идей и фактов, 2) *художественная творческая деятельность*, 3) *житейские, научные и философские догадки*.

1) Лейбниц рассказывает следующее о сне Скалигера: „Когда однажды Юлий Скалигер прославил в стихах знаменитых веронцев, некто Бругнолус, баварец по происхождению, но издавна поселившийся в Вероне, явился ему во сне и упрекнул его, что тот позабыл о нем. Юлий Скалигер вспомнил то, что когда-то слышал о нем, и написал по поводу этого сна элегические стихи. Сын Скалигера, Іосиф, впоследствие убедился, что Бругнолус действительно существовал". „Весьма вероятно, что Скалигер знал нечто о Бругнолусе, но забыл об этом, и что сон был частичным возобновлением этой идеи, хотя у него и не было здесь *воспоминания* в собственном смысле слова, когда мы воспризнаем раньше имевшуюся идею. По крайней мере, я не вижу никакой необходимости, которая вынуждала бы нас утверждать, будто от перцепции не остается никакого следа в том случае, когда от нее не осталось достаточного следа, дабы получить возможность осознанного воспоминания" („Nouveaux Essais", кн. I, гл. III, Ed. Erdm, 1840, p. 221). Об Александре Македонском существует следующее предание: „Во время одного из его многочисленных походов его друг Птоломей был ранен ядовитою стрелой. Сильно огорченный тем, что придется потерять близкого человека, Александр заснул. Во сне он увидел дракона, который, показывая ему неизвестную траву, советовал ему лечить ею раненного, предсказывая хорошие результаты. Утром Александр велел своим воинам ее искать, дав точное описание формы стеблей, цвета и места, на котором можно было ее найти. Траву скоро нашли. Птоломей был излечен; с тех пор очень удачно лечили ею всех ране-

ных, отравленных стрелами. Будучи прекрасно образован для своего времени, Александр мог, конечно, знать, да, по всей вероятности, и знал целебные свойства многих лечебных трав. Очень может быть, что когда-нибудь раньше ему были сообщены лечебные свойства этой травы и ее местонахождение. Впоследствии Александр мог совершенно забыть об этом, а затем под влиянием сильного душевного потрясения при виде опасности, угрожавшей жизни его друга, он мог вспомнить об этом во сне, потому что ум его был всецело поглощен изысканием какого-либо средства к спасению любимого друга" (А. Л. Лямин: „Сны и сновидения", etc., 1904 г., стр. 28—29).

Со сном Александра можно сопоставить другой, виденный французским психологом Дельбёфом. Я изложу его вкратце—подробности читатель найдет в его исследовании о сновидениях. Ему приснилось (сентябрь 1862 г.), что он находится в самом начале зимы на дворе, уже покрытом снегом, и видит на снегу двух мерзнущих ящериц, как ему казалось, постоянных обитательниц его дома. Согрев их в руках, он поместил их у входа в норку, положив туда обрывки веток растения asplenium ruta muralis, которое росло тут же на стене двора. В это время один знакомый кинул в него камешек из окна дома. Дельбёф влез по стене и проник через окно в его комнату и запер его в шкаф. Вернувшись на двор, он увидел, что ящериц стало больше, появилась 3-я, 4-я, 5-я и, наконец, целые полчища потянулись к asplenium. Желая узнать причину, по которой asplenium привлекал их, Д. подошел к кустарнику уже не на дворе, а в лесу, сорвал его листья, растер их между пальцев и заметил, что растение очень приятно пахнет, и подумал при этом, что Brillat-Savarin (книгу которого он читал перед сном) неправ, утверждая, что запахи не входят в состав сновидений. По пробуждении Д. долго не мог понять, почему ему приснилось растение asplenium, о котором он ничего не знал наяву, и самое название было для него совершенно ново. Загадка об'яснилась лишь 14 лет спустя (в 1876 г.): приехав в Брюссель к друзьям, он увидел альбомчик для собирания сухих трав и в нем нашел asplenium. Тут он вспомнил, что 16 лет тому назад (в 1860 г.) он под диктовку ботаника вписал в подобный альбомчик название трав и некоторые пояснения—альбомчик предназначался в подарок одному подростку. Оказалось также, что картина множества ящериц была навеяна гравюрой, виденной в журнале „Tour du monde" за 1861 г. Дельбёфу попалась в руки эта книга снова лишь в 1877 г. („Le sommeil et les rêves", p. 107).

Позволю себе привести один случай *гипермнезии* во сне, наблюденной мною на самом себе. В 1912 г., кончая работу: „О перевоплощае-

мости в художественном творчестве", я видел во сне, что сожалею об употреблении в упомянутой статье терминов „аналитический" и „синтетический" в нестрого гносеологическом значении этих слов. Но затем, какбы оправдываясь перед самим собою, я вспоминаю, что у Канта эти термины также употреблены однажды не в им установленном гносеологическом смысле, и думаю, что соответствующее место имеется в „Reflexionen zur Anthropologie". На другой день я взял в университетской библиотеке „Reflexionen" и на последней странице книги нашел искомое. „Reflexionen" я перелистывал в Лондоне за тринадцать или четырнадцать лет до этого сна, у меня были сделаны незначительные выписки из начала книги, но приведенное место не было связано у меня ни с малейшим чувством знакомости. Бирфлит (Biervliet) в своей книге „La mémoire" высказывает предположение, что гипермнезия в одном направлении связана с понижением деятельности других родов памяти. Не приложима ли эта догадка и к случаям внезапного припоминания совершенно забытого во сне?

2) Случаи *художественнаго* изобретения во сне весьма многочисленны, и многие приведены мною в работе: „О перевоплощаемости в художественном творчестве".

Приведу еще несколько примеров. Вольтеру пришел в голову вариант одной из сцен в „Генриаде" во сне. *Зекендорф* сочинил во сне стихотворение, начинающееся следующими словами:

„Holde süsse Phantasei
Immer wirksam, immer neu.
Dank sei deinen Zauberbildern,
Die mein hartes Schicksal mildern".

Вольтер съимпровизировал во сне следующее стихотворение, посвященное Турону, который свои же стихи перекладывал на музыку:

Mon chèr Touron, que tu m'enchante
Par la douceur de tes accents,
Que tes vers sont doux et coulants,
Tu les fais, comme tu les chantes.

Вольтер замечает по поводу автоматизма подобного творчества, что человек подлинно есть машина. См. „Dictionnaire philosophique", art. „Somnambules". *Коульридж* также сочинил стихотворение во сне. *Селли* сообщает *шараду*, сочиненную им во сне: „What might a wooden ship say, when her sid was stove in? „Tremendous!" (Tree-mend-us). Помнится, я старался усовершенствовать загадку. Могу заметить, к счастью, что в бодрственной жизни я отнюдь не склонен к сочи-

нению загадок, хотя когда-то я и пережил увлечение подобным занятием. Меня поражает то, что составление подобных загадок, состоящее большею частью из *отвлечения внимания от смысла* и сосредоточение его на звуках, представляет как раз ту пониженную форму умственной деятельности, какую можно ожидать найти во сне („Illusions", p. 181).

3) Сны, в которых разрешаются математические задачи и достигаются различнаго рода интеллектуальныя догадки, бывают довольно часто, но при собирании сведений о них особенно ценно знать конкретные подробности, *какова именно* была проблема, и как именно был получен результат, ибо нередко снится, что сочиняешь великолепные стихи или постигаешь важную философскую истину, между тем на самом деле, быть может, переживаешь лишь *субъективную уверенность* в истинности и важности полученного результата. Г-жа Смирнова разсказывает, что однажды Пушкин проснулся ночью и разбудил жену, желая прочесть ей сочиненное во сне стихотворение, но при попытке прочесть его он почувствовал, что оно целиком ускользнуло из его памяти. Академик А. С. Лаппо-Данилевский рассказывал мне, что однажды он видел во сне огромные языки пламени, причем у него мелькнула мысль об одушевленности всей материи. *Объективно* по пробуждении он не имел никаких новых и неопровержимых аргументов в защиту панпсихизма, но он отлично помнит, что он *пережил необыкновенно интенсивно радостное чувство глубокой, непоколебимой убежденности в истинности такого взгляда на материю.*

Удельный вес догадок и изобретений во сне может быть весьма различен от какого-нибудь незначительного усовершенствания, вроде изменения условий шахматной игры, до интуиций, чреватых великими последствиями. А. Ланге рассказывает, что, будучи шахматистом, он однажды видел во сне шахматную доску с 81 или 100 квадратиками с большим числом фигур, из которых одна по имени „Аин" (буква еврейского алфавита, означающая глаз) была старшая и по своему виду представляла комбинацию пешки и офицера. Королева была образована комбинацией пешки и туры. Доска была, как сказано, увеличена, увеличено и число фигур. Легко было развить далее эту возникшую в грезах идею, и, таким образом, число возможных партий увеличивалось естественно на несколько биллионов. Elissen: „F. A. Lange".

Кондорсе решил во сне одну математическую проблему („Insanity of genius", by Nasbet). *Дельбеф* рассказывает, что в 1878 году он задумал построить себе дом, в котором не было бы тех архитектурных недостатков,

которые были им замечены в других зданиях. Он и днем был поглощен набрасыванием плана, расчетами и вычислениями, и по ночам грезил о том же. Особенные трудности представляла задача конструкции некоей лестницы, ведшей в подземелье. „Я придумывал различные способы решения задачи, но ни один не удовлетворял меня всецело. Однажды ночью во сне я не только переделал, как мне казалось, с величайшей точностью мои вычисления, но и придумал новую комбинацию, которая, замечу в скобках, и была принята мною окончательно“ („Le sommeil et les rêves“ 1887, p 225—226).

Аберкомбри расказывает, как один выдающийся юрист в Шотландии тщетно пытался разобраться в одном запутанном и важном юридическом казусе, по которому он должен был дать совет другому лицу. После нескольких дней напряженной работы мысли в этом направлении он однажды лег спать, и жена его заметила, что ночью он встал с постели и подошел к письменной конторке, стоявшей у него в спальне. Затем он сел и принялся писать длинную записку которую тщательно уложил в конторку, а затем снова лег в постель. Утром, по пробуждении, он сообщил жене, что видел ночью преинтересный сон, и что готов отдать все на свете, чтобы восстановить ход своих мыслей в этом сновидении. Тогда жена подвела его к конторке, где он нашел свою резолюцию ясно и полностью изложенной, и притом он нашел ее совершенно правильной (Цитата взята из книги Colderwood'a „The relations of mind and brain“. 1879, p. 345).

„Я знавал человека,—пишет *Кабанис*, весьма просвещенного и мудрого, который был убежден в том, что он неоднократно находил во сне надлежащий выход в затруднениях, которые его в данный момент озабочивают“ (Cabanis: „Rapport du physique et du moral“, Du sommeil, § 3). Он же говорит: „*Кондильяк* рассказывал мне, что, работая над своим „Cours“, он должен был нередко ложиться спать, подготовив мысленно свою работу, но не завершив ее, и после пробуждения он находил, что работа получила уже в голове его совершенно законченную форму“. Банзен отмечает, что в снах нам нередко даются удивительные раз'яснения касательно характера кого-нибудь из наших личных знакомых, после того как мы тщетно пытались, путем абстрактных комбинаций, разгадать мотивы, которыми руководилось известное лицо, нас может по этому поводу во сне внезапно „озарить свет“, благодаря той волшебной силе, которою обладают некоторого рода сны, дающие нам, подобно гению, заглянуть в корень вещей, выделить существенное из случайного („Beiträge zur Characterologie“, 1867, стр. 126).

Верный famulus Шопенгауэра—Фрауэнштедт однажды (Memo-

rialen, Briefe und Naehlassstücke из книги: „Arthur Schopenhauer“ Линднера и Фрауэнштедта) задал ему вопрос: почему утром, тотчас по пробуждении, проясняются без всякого напряжения вопросы, которые казались темными накануне вечером. Шопенгауэр ответил: „Видите, как *физичен* наш интеллект, я могу при этом сослаться на мое учение *об утомляемости* интеллекта в противоположность неутомляемости *воли*“. При этом он указал на ложность мысли Бенеке, будто человек тем-менее интеллигентен, чем более нуждается во сне, и подчеркнул, наоборот, необходимость продолжительного сна для мощно работающего интеллекта, ссылаясь при этом на свидетельства Декарта, Канта и на свой личный опыт. В книге „Мир, как воля и представление“ он рассказывает о неудачных попытках Фридриха Великого сократить время сна и усматривает в подобных стремлениях отголоски фальшивого интеллектуализма, согласно которому чистое мышление не есть функция мозга (B I, S. 471).

Творческая работа фантазии во сне может содействовать логическому процессу формирования понятий путем подготовления *родовых образов*, на почве которых могут образовываться научные понятия, в виде *кинематографической смены* или *одновременного ассортимента однородных образов*. Первый процесс Фрейд неосновательно называет сгущением образов, ибо образы, как психические образования, не могут сгущаться (см. об этом мое исследование: „О перевоплощаемости в художественном творчестве“, вып. V „Вопросов теории и психологии творчества“, 1913),—таковы сборные или смешанные лица во сне (Фрейд—„Психология сна“. Москва, 1912, стр. 26). Во втором случае сновидение выражает *логическую связь сближением во времени и в пространстве*, подобно „художнику, соединяющему на картине Парнасса всех поэтов, которые, конечно, никогда не находились вместе на одной вершине горы, но в понятии несомненно образуют одну семью“ (Ib. стр. 87). Весьма любопытно то, что в *упадочных* формах философского мышления, когда *категории* мысли и мировые *сущности* приобретают характер *олицетворений* и *божеств*, мы получаем в синоптической таблице основных категорий и сущностей мира сновидный образ *Олимпа богов*. Именно такое явление можно наблюдать, например, у Прокла. Здесь явна аналогия в *подмене процессов мышления внешними комбинациями образов* в одном случае наяву, в другом—во сне.

XXX.

В комбинационной деятельности творческой фантазии есть своеобразная противоположность путей для устранения ненужного. Чтобы

получилась *счастливая* комбинация идеи, нужно или *математически* исчерпать всевозможные комбинации, или предоставить игру сочетающихся представлений *лотерее случая*. *Методическое* продолжительное обдумывание днем и беспорядочное калейдоскопическое сочетание представлений в грезах и сновидениях и *дают изобретателю иногда счастливый* синтез обоих моментов. Кроме грез, удачному *диссоциированию* привычных, шаблонных сочетаний наших представлений и чувствований иногда благоприятствуют случайные *внешние восприятия*. Это замечается в художественном творчестве и поэтов, и живописцев, и музыкантов.

Однажды Фрауэнштедт спросил Шопенгауэра, почему при умственной работе пользование каким-нибудь добавочным, совершенно не относящимся к делу раздражителем, например, раскручивание и закручивание руками бумажки или нитки, помогает умственной работе. Шопенгауэр относит это явление к некоторому расщеплению интеллекта между двумя диспаратными родами работы—*интуитивной* и *абстрактной* деятельности („Arthur Schopenhauer" Lindner und Frauenstädt", 194—195). Кант дает в „Антропологии" следующее объяснение этому явлению. „Смена подвижных образов (мелькание искорок в камине, журчание ручья, кручение нитки в руках) вызывают в творческой игре воображения множество побочных представлений, не относящихся к объекту наших размышлений, но оказывающих косвенное возбуждающее и направляющее действие на наше самочувствие и ход наших мыслей. Такое же действие оказывает на поэта или философа (если они немузыкальны) и музыка. При этом обогащается чувственный материал фантазии при процессе размышления". Кант приводит пример из английского журнала „Spectator". Один адвокат имел привычку, произнося речи, наматывать на палец веревочку. Однажды он потерял ее и запутался в ходе своей аргументации,—отсюда выражение „потерял нить в своей речи" („Kants Werke", издание Шуберта и Розенкранца, т. XII, стр. 71). Покойный академик Л. Н. Майков имел именно такую привычку, а когда приходил в гости к близким друзьям, то неизменно во время беседы вынимал веревочку из кармана и крутил ее руками. О „фасцинирующем" воображение действии каминного огня можно найти указания многих поэтов. Так, например, Пушкин описывает игру творческого воображения в стихотворении „Мечтатель": „В камине гаснет огонек... С волшебной ночи темнотой, при месячном сияньи, слетают резвою толпой крылатые мечтанья"; вот третий отрывок из „Послания Юшкову": „Вот мой камин, под вечер темной осенней, бурною порой, люблю под сенью укромной перед ним задумчиво мечтать, Вольтера,

Виланда читать или, в минуту вдохновенья, небрежно стансы намарать и жечь потом свои творенья... вот здесь... но быстро привиденья, родясь в волшебном фонаре, на белом полотне мелькают; мечты находят, исчезают, как тень на утренней заре". Сурио в своей книге: „Theorie de l'invention" обращает внимание на то, что рифма в поэзии ценна не только тем, что она увеличивает и для поэта, и для читателя музыкальность стихотворения, но и тем, что она *иррациональна*, случайна, и поиски за нею вносят в круговорот идей в процессе творчества момент неожиданности, иногда ведущий к обогащению содержанием самых образов. Леонардо-да-Винчи *) в трактате „Della pittura" (гл. XVI) пишет: „*Способ возбуждать дух и воображение к изобретению многих вещей:* „Глядя на какую-нибудь старую стену, покрытую пылью, можно увидеть вещи, весьма сходные с теми, которые входят в композицию картины: пейзажи, битвы, облака, *смелые* позы (les attitudes hardies), головы необычайного вида и множество тому подобного. Множество подобных объектов оказывает большую помощь духу, доставляя ему множество контуров и совершенно новых тем". Музыканты нередко намеренно связывают свое творчество искусственными условиями, стимулирующими их изобретательность,—сюда относятся сочинения на заданную случайную тему, нередко неизменно монотонно повторяющую: многие пьесы Шумана, Римского-Корсакова и др. на B-A-C-H или парафразы Бородина, Римского-Корсакова, Лядова и Кюи на „собачью польку", на фоне неизменного повторения последней сочиняется множество весьма разнообразных пьес, лишь внешним образом связанных с упорно повторяющимся оборотом (причем темы пьес *совершенно другие*). В научном и философском творчестве таким внешним благоприятствующим удачной диссоциации моментом нередко является перемена обстановки; мы увидим ниже, что „озарение" творческой догадкой нередко застигает философа во время прыганья на трамвай, влезания на высокую гору, среди уличной сутолоки и т. п. Но „уловление" счастливого случая возможно и рациональным путем per enumerationem simplicem *всех возможных*, по крайней мере, *типических комбинаций* идей.

Особенности творческого воображения у философов весьма многообразны, постольку, поскольку многообразен, как мы видели, круг

---

*) Я весьма обязан проф. С. Г. Елисееву, знатоку японского языка и литературы, за то, что он обратил мое внимание на один совет, даваемый китайским писателем по эстетике XI века, совет, по существу совпадающий с указанием Леонардо-да-Винчи, а именно он советует накладывать тонкий шелк на старые стены и шевелить тканью до тех пор, пока не получатся из смутных очертаний фигуры гор. (Об этом см. книгу Petrucci *по китайской эстетике*.

философских интересов и наклонностей. Вундт дает следующую схему для характеристики той роли, которую творческое воображение играет у ученых различного типа: он разделяет фантазию в науке на *воспринимающую*, т. е. привходящую в процесс восприятия, и *комбинирующую*, а склад научного ума—на *индуктивный* и *дедуктивный*, откуда получаются четыре возможных комбинации:

I. *Наблюдательный талант*:

Воспринимающая фантазия плюс индуктивный ум.

II. *Изобретательный талант*:

Комбинирующая фантазия плюс индуктивный ум.

III. *Аналитический талант*:

Воспринимающая фантазия плюс дедуктивный ум.

IV. *Спекулятивный талант*:

Комбинирующая фантазия плюс дедуктивный ум.

В приведенной схеме (см. 1-е издание „Оснований физиологической психологии“) порядок разновидностей воображения, повидимому, соответствует переходу от более конкретного к более абстрактному и от индуктивных операций мысли к дедуктивным. Но мне думается, что сама схема скорее выражает лишь отдельные *стороны* в дарованиях ученого и философа, а не *типы* творческой фантазии. Схема Вундта, например, связывает изобретательный талант исключительно с индуктивным умом, т. е. с дарованием, например, натуралиста-экспериментатора, а не с дарованием математика или философа. С другой стороны, индукция и дедукция—процессы *соотносительные*—дедуктивные операции играют огромную роль в естественно-исторической изобретательности так же, как и „индуктивный“ процесс (в смысле движения мысли от n случаев к n+ 1-му случаю) в математике. Поэтому можно говорить лишь о преобладании какой-нибудь из упомянутых разновидностей творческого воображения у того или иного ученого.

XXXI.

Мы знаем из общих данных психологии, что творчеекое воображение играет, наряду с памятью и мышлением, огромную роль в построении любого восприятия. Истолкование природы какого

нибудь предмета предполагает соучастие воображения; нутро видимых вещей, внекругозорные представления (т. е. представление предметов, находящихся вне сферы непосредственного поля зрения), представление содержания чужой душевной жизни,—все это осуществляется, благодаря конструктивной работе воображения. Но не об этом я имею в виду говорить; я хочу обратить внимание на то, что во всех науках играют роль особые *фантасмы*, но не фантастические образы, какие мы встречаем в искусстве. Фантастические образы заведомо не имеют себе соответственных реальностей, но лишь принимаются за якобы реальные в процессе эстетического эмоционального мышления. *Научные фантасмы* таковы, что они в сознании ученого, хотя и не соответствуют вполне по своему содержанию действительности, но в гипотетической форме и в самых грубых и приблизительных чертах верно схватывают известные об'ективные отношения между явлениями или косвенно наглядным образом дают нам в воззрительной форме картину тех отношений, какие были бы между вещами, еслибы основные законы природы и мысли были бы иными.

При этом нужно иметь в виду, что в процессе *образования* научных фантасмов играет роль не только фантазия изобретателя, но и *об'ективные данные*, нередко даже поддающиеся в известных пределах количественному расчету. Только в первоначальном замысле играет роль фантазия—в его осуществление уже привходит расчет.

В истории науки нередки случаи вольной, т. е. умышленной или неумышленной подмены *об'ективно* значимого научного *фантасма суб'ективной фантазией* ученого. Ярким примером такого случая является известная история, случившаяся с „Естественной историей творения" Геккеля. Желая внушить читателю мысль, что зародыш человека на известной стадии развития не отличим от зародыша некоторых других млекопитающих, он *трижды* воспользовался тем же типографским клише. Его биограф Бёльше пытается извинить его, но уж лучше бы не пытался. Он ссылается на дороговизну клише в эпоху печатания первого издания книги Геккеля (1868) и на то, что Геккель в тексте поясняет, что зародыши сходны лишь по внешнему виду, а не по внутренней структуре, забывая, что весь nervus probandi рассуждений Геккеля лежал в том, чтобы об'ективно констатировать *различными* фотографическими снимками *сходство* внешних форм, а не *морочить* читателя подменою нескольких сходных изображений одним *тожественным*. Очевидно, Геккель принимал своих читателей за современников гоголевского Хлестакова (см. В. Бёльше: „Эрнст Геккель", 1910, стр. 91—92).

В *геометрии* и *механике* мы имеем помощь воображения мышлению в виде родовых образов или типических схем, служащих эмпирической *иллюстрацией* какого-нибудь геометрического понятия, причем, если оно сложно, то на помощь воображению создаются *механические модели*. Таковы модели *кривых поверхностей*. Примером фантасмов в форме косвенной наглядности являются, *образы проэкций* из 4-го измерения в наше пространство.

В области *физики* существенную роль играет то, что Максуэлль называет *механическими иллюстрациями*. Voigt (Фохт) в своей речи, посвященной лорду Кельвину, усматривает в его созидании механических моделей проявление известной художественной склонности. „Исключив все, что было не необходимо для построения теории, Томсон постоянно возвращается к попыткам сделать и механизм процессов нагляднее и до известной степени доказательнее. Он придумывает модели, которые могли бы осветить отдельные процессы, вызывая эффекты аналогичные тем, которые наблюдаются в действительности. Упругие тела он изображает при посредстве вращающихся механизмов, соединенных в своеобразном сочетании, вихревые кольца и жидкости изображают у него атомы, мыльная пена изображает у него световой эфир, который принимает его теория. Он постоянно снова возвращается к попыткам конструкции механической модели кристаллического вещества; для новейших процессов радиоактивности он имеет наготове модель молекулы, которая, состоя из различных частей в неустойчивом равновесии, при малейшем ударе, распадается со взрывом. При этом Томсон вовсе не держится постоянно одной определенной концепции, а всегда готов создавать новые модели для изображения новых свойств. В моделях этих он видит не действительные копии природы, а только символы определенных свойств, вероятно, существующих в природе“ (см. Фолькманн: „Теория познания естественных наук“, стр. 86—87).

В *химии* роль творческого воображения и, в частности, *воображения геометрического* особенно ярко проявляется в деятельности одного из основоположателей стереохимии — Вант-Гоффа, который, пройдя в 2 года 3-х годичный курс в Политехникуме в Дельфте, окончил его 17 лет (1869 г.). Проф. Яковлев пишет в биографии Вант-Гоффа: „В этом высшем техническом заведении должна была преподаваться начертательная геометрия, наука, развивающая геометрическое воображение и чувство геометрических форм и отношений. Отсюда произошло его прочное знакомство с математикой: *здесь окрепла, очевидно, врожденная ему* способность мыслить геометрическими пространственными образами“. Но Вант-Гофф отдался изучению химии,

и здесь сочетание великого дарования экспериментатора с мощной геометрической фантазией сделало из него создателя стереохимической гипотезы. В первой его химической работе „вы уже слышите слово о связи между оптической деятельностью органических соединений и их структурными формулами, построенными в пространстве". Подобная мысль долгое время представлялась авторитетным химикам произвольной фантастикой, лишенной об'ективного значения, и даже, как выразился Кольбе, галиматьей" (см. Новые идеи в химии, 1, Яковлев: „Биографический очерк: Вант-Гофф", 1911).

В *геологии* творческая фантазия ученого создала карты прошлого и будущего земли. Доктор Лютер в 1683 г. впервые задумал воссоздать на карте минеральный состав земли, прибегая к различным краскам. В настоящее время мы имеем *карту суши земли через 10,000 лет.*

В *биологии* мы находим фантасмы, изображающие предположительно ныне не существующие *промежуточные формы* растительного и животного царств (например, у Геккеля), а также воссоздания целых экземпляров ископаемых животных, от которых сохранился лишь скелет или часть скелета. Последнее блестяще осуществлял Кювье, благодаря *корреляции*, существующей между всеми частями организма. Исходя из аналогии с эвристическими фикциями в математике, Конт предлагает ввести в биологию типические образы *фиктивных организмов*, которые надлежит вставлять между типическими образами известных нам организмов. „Такие организмы, искусственно построены воображением ученого, чтобы облегчить процесс сравнение организмов, так как таким путем мы делаем известный биологический ряд более однородным и непрерывным, короче, более правильным, из подобных фиктивных организмов многие, быть может, окажутся впоследствии существующими в природе в более или менее точном виде среди неведомых нам до сих пор организмов" („Cours de la philosophie positive", v. III, pp. 431—433).

В *социологии и истории* фантасмы научного воображения играют огромную роль. Изображая *среднего человека* (homme moyen) эпохи или *типическое крайнее явление*, историк одинаково апеллирует к воображению читателя, причем яркость и живость его изложения сходна, но отнюдь не тожественна с живописностью, какую мы встречаем у романиста—историка. Об этом речь будет ниже.

В *психологии* участие воображения непрестанно, ибо при исследовании любого специального психического явления или занимаясь индивидуальной психологией, мы одинаково апеллируем и к самонаблюдению читателя, и его способности к перевоплощению, в кото-

рой играет важную роль воображение. Кроме того, *наглядные схемы* нередко играют полезную *косвенную роль* при исследовании душевных процессов (см., например, в работе Пьера-Жане: „Неврозы" схему для пробелов памяти).

Попытка дать *схему личности* в характерологии Лазурского заключается в графическом изображении в виде кругов, расположенных на листе бумаги *корреляции основных наклонностей* человека. Круги цвета А, цвета В и цвета С могут соответственно символизировать три различные степени какой-нибудь основной наклонности, а их пространственная группировка может символизировать степень *близости* или *отдаленности внутреннего сродства* наклонностей. Такая схема может служить *наглядной иллюстрацией*, „психологическим фантасмом", сопровождающим подробную словесную характеристику изучаемаго лица. Последняя получается из продолжительного изучения проявлений данной личности по определенной разработанной детально „программе". Но *построение* характеристики получается не одним механическим об'единением отдельных записей, но сверх того при наблюдении человека и экспериментации над ним мы должны по возможности перевоплотиться мысленно в него. Для такого перевоплощения не нужна никакая мистическая интуиция, нужна чуткость психолога: надо идти сразу и от изучения частей к целому (от записей), и от целого к частям, взаимно проверяя частные наблюдательные и экспериментальные данные и общий *целостный облик человека*, облик, который сложился у нас, и при построении которого нами *без нашего ведома и воли всплывают* дополнительные иногда существенно важные черты, неуловимые ни в какую тетрадку, ни путем искусственного эксперимента, ни путем искусственного наблюдения. Вот что пишет Лазурский в „Школьных характеристиках" об этом втором интунтивном способе построения психологической характеристики: „Другой способ заключается в том, что исследователь уже заранее, изучая материалы, относящиеся к данной личности, *составил себе представление об ее общей конструкции* и ее главных особенностях. Поэтому, приступая к подобной сводке всего материала, мы получаем не бледную отвлеченную схему, а живой портрет данной личности, этот способ труднее первого, но дает более яркие, так сказать более красивые характеристики".

В *социальной философии* имеют большое значение в качестве умственного эксперимента различные *утопии*, начиная с „Государства" Платона, „Телемы" Рабле, „Утопии" Томаса Мура, „Города Солнца" Кампанеллы и кончая новейшими опытами в этом роде, как произведение Уилльяма Морриса: „Вести ниоткуда".

Наконец,—творческое воображение играет роль и в *филосо-*

фы при построении общей *картины мира*. Философ, если он метафизик, дает нам характеристику *истинной сущности мира*; если он критический философ, он строит перед нами понятие *связного единства мира явлений*, в обоих случаях при построении *понятия о мире* (Weltbegriff) приходится пользоваться и образными элементами—дать известный целостный *образ мира* (Weltbild), подобный *машине мира* (Worldmachine) у натуралистов. Это—приблизительно то, что Бергсон называет *„посредствующий образ“* (image médiatrice), при помощи которого иллюстрируется нечувственная *идея мирового единства*.

В области гуманистических наук, *мифы, легенды*, аллегории, параболы могут играть роль такой же *своеобразной иллюстрации, что и механические модели в естествознании*: 1) Они служат или для освещения какой-нибудь *метафизической или гносеологической проблемы*. Рассказ об *узниках в пещере* у Платона, диалог между *„суб'ектом и об'ектом“* у Шопенгауэра, *„Сон д'Аламбера“* у Дидро суть *образные модели* для освещения общефилософских проблем. 2) Такие же иллюстрации могут играть роль и в *этических* проблемах: описание души тиранна у Платона, „Басня о пчелах“ Мандевиля, „Три разговора“ Соловьева, „Заратустра“ Ницше служат прежде всего целям этического размышления. Никак нельзя сказать, что „Фауст“ Гете есть 25%-ный раствор философии на 75% поэзии, Заратустра же наоборот. Несмотря на поэтическую форму и здесь, и там, *фокус внимания* творца и *центр тяжести* в обоих произведениях глубоко различны. В Гетевском „Фаусте“ мотив творчества художественный, но, сверх того, в нем заключено и философское содержание. В „Заратустре“ мотив творчества философский (этический), и философ пользуется своим вторым добавочным дарованием для преображения отвлеченных положений в типические образные схемы полухудожественного произведения. 3) Поэтические и образные элементы служат далее в философии материалом для *умственного эксперимента*, который философ применяет в *области самого процесса философского творчества*. Он вводит нас в *лабораторию*, где зарождаются, созревают и развиваются сами философские понятия. Это особенно часто наблюдается там, где для самого философа они еще *не вполне ясны*, „несказанны“ с полной отчетливостью, и он в „борьбе со словом“ прибегает к описательным выражениям. Достаточно напомнить по этому поводу „Пир“ Платона, „Феноменологию“ Гегеля, „Эннеады“ Плотина. По этому поводу есть глубоко-верное замечание у Канта: „Es scheint zwar nichts geschmackwidriger zu sein, als Metaphysik, aber die Zierrate die an der Schönheit glänzen, lagen erstlich in dunklen Grüften, wenigstens sah man sie durch die finstere Werkstatt des Künstlers“ (см. Reflexionen“. B. II, II, 6).

XXXII.

Деятельность творческого воображения нашла себе в философии своеобразное проявление в *„проблеме подобных миров“*. Существует обширная „научно-фантастическая“ литература от Фонтенеля и Вольтера до Жюля Верна и Уэльса, где изображается жизнь на других планетах, и „образ мира“ у существ иной, но подобной нашей организации. Забавность и пикантность подобных произведений заключается в том, что дух человеческий с присущими ему „земными“ свойствами помещается в другую обстановку (напр., вне действия закона тяготения) или наделяется новыми способами управлять силами природы. Так, Микромегас, житель Сириуса, по словам Вольтера, гигант в восемь лье высотою, обладает высшим интеллектом, будучи 250 лет, все еще „учится в иезуитской коллегии своей планеты“. Мы имеем в виду не такие чисто фантастические и à la longue довольно скучные измышления, но „умственные эксперименты“, представляющие действительный гносеологический интерес. Проблема подобных миров занимала умы философов и ученых от Гераклита, софистов и скептиков до Пуанкаре. Гераклит жалуется на то, что органы чувств—„плохие свидетели“ так как у них „варварские души“, т. е. грубая природа. Подобно тому, как Гейманс развивает картину акустического мира, Гераклит говорит об обонятельной вселенной: *„εἰ πάντα τὰ ὄντα καπνός γένοιτο, ῥῖνες ἂν διαγνοῖεν“* (fragm. 7).

Гераклит не был скептиком, называя органы чувств плохими свидетелями, он однако открывает путь для последующего *сенсуального скепсиса* софистов, Пиррона и Секста. У последнего мы находим в качестве аргумента против возможности истинного познания мира зависимость „картины мира“ от особенностей психофизической организации у различных животных. Так, структура глаз некоторых насекомых должна порождать в их сознании совершенно иной образ мира. После великих астрономических открытий Коперника и Бруно *) и падения аристотелевского абсолютизма проблема подобных миров связывается с идеей *относительности* в области количественной. Малебранш, позднее Кант указывают, что вселенная, в

*) Бруно, исходя из открытий Коперника, провозглашает идею бесконечности миров и сближает человеческий микрокосм с божественным макрокосмом (сближение, имеющее до него длинную историю), Лейбниц, опираясь с другого конца на исследования микроорганизмов при помощи микроскопа Левенгеком в учении о монадах, сближает безмерно малое с безмерно великим и рассматривает бытие, как бесконечный ряд *подобных миров* от нисшей монады до человеческого мира и от мира „планетных гениев“ до Бога.

которой размеры *всех* предметов были бы пропорционально уменьшены, ничем бы в наших глазах не отличалась от теперешнего состояния вещей, даже еслибы наша планетная система была величиной с орех. Тоже можно сказать и о временных отношениях. Этим провозглашался уже *не скептический, а критический релятивизм понятий*, который и до сих пор чужд догматическим умам, что можно видеть на Дельбефе, который дважды выступал печатно с утверждением, что пропорциональное уменьшение размеров и скоростей в мире изменило бы и его качественные свойства. Испанский схоластик Бальмес, по примеру Малебранша, ставит вопрос, изменилось ли бы что-нибудь в мире, еслибы земной шар стал вращаться вдвое быстрее, а все остальное, включая и темп движения наших идей, в мире proportions gardées, изменилось в том же направлении. Дельбеф, в противоположность Бальмесу, отвечает на этот вопрос утвердительно. Он так поясняет свою мысль. Если, примерно, предположить, что вращение земли стало бы в 17 раз скорее, то маятник на экваторе остановился бы. Ошибка Дельбефа, как указывает Лешала (La critique philosophique, 1888, p. 373: Problème des mondes semblables), заключается в том, что с увеличением скорости вращения земли, соответственно увеличилась и скорость падения тел, о чем Дельбеф совершенно забыл подумать. В другом сочинении: „Мегамикрос“, предполагая мир уменьшенным в размере, Дельбеф показывает, что в результате получится не одна лишь количественная, но и качественная разница. Но дело в том, что мир уменьшенного размера Дельбеф предполагает состоящим из тех же *(неуменьшенных в размере)* составных частей, но в меньшем количестве. Эти ошибки весьма характерны для *догматиков абсолютизма*, которые, нужно прибавить, относятся к проблеме подобных миров нередко лишь как к праздной игре ума. Гегель в „Философии природы“ являет яркие черты подобного догматика, утверждая во след Аристотелю, что наша планетная система не имеет истории, и осуждая эволюционизм в биологии. И то же мы видим у зараженного богословскими предрассудками английского философа Уэвеля, которому глубоко враждебны идеи Канта, Лапласа и Дарвина. В то время, как Кант допускал (в „Теории Неба“) возможность других разумных существ, кроме человека, на других небесных телах, Уэвель горячо нападает на анонимный труд—„The plurality of Worlds“, появившийся в 1853 г. Если мы вспомним, что одним из главных пунктов обвинения против Джьордано Бруно было то, что он допускал воплощение Христа не только в человека, но и в другие планетные существа, то нам станет понятной ненависть Уэвеля ко всему, что задевает за живое богословский антропоцентризм. Подобным же образом

гегельянец Страхов тратит не мало пороху для стрельбы по воробьям, опровергая возможность Микромегаса Вольтера, как будто памфлет Вольтера был чем-нибудь бо́льшим, нежели публицистическая фантазия. Страхов доказывает, что Микромегас рухнул бы от собственной тяжести, забывая, как и Дельбеф, что при увеличении размеров все единицы меры соответственно изменились бы, и следовательно, сопротивляемость материалов, из которых состоял бы Микромегас, была бы та же. Подобно Аристотелю и Гегелю, Страхов дает „философское" доказательство, что бо́льшего количества органов чувств, чем пять имеющихся у человека, и не нужно для живого существа. По его словам, чувства разделяются на три разряда, и четвертого не может быть: 1) чувства, дающие нам знать о внутрителесных переменах—суб'ективные—обоняние и вкус; 2) чувства, дающие нам знать о внешних переменах—об'ективные—зрение и слух; 3) суб'ективно-об'ективное чувство—осязание, служащее обеим целям зараз. Несомненно, что эта априорная дедукция органов чувств навеяна следующим местом из „Философии духа" Гегеля: „их не более и не менее, потому что органы чувств соответствуют самому понятию материального тела. Три момента этого понятия—единичное, частное и общее: свойства тел воспринимаются соответствующими родами чувств, к которым сводятся те пять органов, которые обыкновенно легко различаются у человека. Отдельным (наиболее отвлеченным) *физическим* свойствам тел соответствуют чувства одного разряда—чувства зрения и слуха. Особенному (теснее связанным) *химическим* свойствам соответствуют чувства второго разряда, чувства обоняния и вкуса. Наконец, общему (целому) свойству материальных тел—тяжести—соответствует одно чувство—осяза́ние" („Философия духа", § 401). Здесь общее с Гегелем стремление придать „человеческому, слишком человеческому" *универсальное логическое значение*. Само же деление ощущений на суб'ективные, об'ективные и суб'ективно-об'ективные заимствованы у Канта без упоминания источника (см. Антропологию).

В новейшее время проблема подобных миров поставлена в связь с новыми открытиями и, прежде всего, с *не-эвклидовской геометрией*. Принцип всеобщей *относительности здесь якобы приходит в любопытное столкновение* с тем положением, что в не-эвклидовской геометрии нет подобия, и прямая нетожественна себе при любом протяжении. У очень больших треугольников сумма углов $> 2d$, и, следовательно, мир Микромегаса, повидимому, может оказаться отличным от нашего мира *не одними размерами, но и структурой*. Новая *электронная теория материи* послужила для английского физика Фурнье д'Альб (Fournier d'Albe) основой для своеобразного сочетания идей Микро-

мегаса и Мегамикроса, хотя он не упоминает в своей книге: „Два новых мира“ (инфра-мир и супра-мир) ни о Вольтере, ни о Дельбефе. Он исходит из глубокого убеждения, что электронная теория материи не есть рабочая гипотеза, лабораторная „модель природы“ в условном смысле слова, но подлинное выражение истинной сути вещей. Он устанавливает полную аналогию между структурой ядра, окруженного электронами, и солнца, как центра планетной системы, и дает характеристику не только механики, физики и астрономии „инфра-мира“, но даже высказывает догадки о жизни в этом мире. Установив аналогию между нашим миром и инфра-миром и опираясь при этом на утверждении, что размеры инфра-мира приблизительно в 10^{-22} меньше нашего мира, т. е. относятся к его размерам, как 1 к 10^{22}, автор устанавливает такое же отношение и для движений в инфра-мире и в нашем мире, а затем, proportions gardées, набрасывает подобную же схему и для „супра-мира“. Защищая при помощи различных физических и астрономических соображений гипотезу бесконечности вселенной, он рассматривает млечный путь в качестве элемента для нового высшего единства — супра-звезды, которую он также наделяет высшими формами жизни, существование коих, если и недоказуемо, то всеже не находится в прямом противоречии с данными опыта. Наше млечная система оказывается супра-организмом; автор сближает атомы и звезды, электроны и планеты, клеточки и млечные пути. Человека автор представляет всемогущим существом, которое путем науки и знания выйдет за пределы земли, овладеет впоследствии властью над солнечной системой и сам, при этом постепенно изменяясь, проникнет и в запредельную область супра-мира.

XXXIII.

Вопрос о том, что я называю *„фантасмами“ научного воображения* в области *исторических наук* (всеобщая история, история литературы, история искусств и т. д.), представляет по некоторым причинам особенные трудности, а между тем он крайне интересен для *историка философии*. Поэтому я остановлюсь на нем несколько подробнее. Никто, кроме некоторых захудалых богословов, не отожествляет „фантасмы“ в области точных наук с продуктами поэтического творчества. Между тем, до сих пор еще историки спорят, что такое история—наука или искусство. Так, например, Гумплович в книге „Sociologie und Politik“ (1892) говорит: „Историческое писание навсегда останется тем, чем оно до сих пор было,—более или менее

поэтической передачей человеческих деяний в сфере политической жизни". И далее он заявляет: „Как я сказал про древний эпос, что он был распеваемая история—с точки зрения своего времени—так отсюда логически вытекает, что всякое историческое писание есть повествовательный эпос". С другой стороны, в области литературы нам знакома манера „мыслящих реалистов", например, Добролюбова, трактовать *художественное произведение*, как об'ективно научный *социологический документ*; и еще в настоящее время найдутся студенты, с увлечением пишущие „исследования" на тему „Быт русского крестьянина по „Запискам Охотника" Тургенева". Это поразительное смешение понятий всего лучше рассеять сопоставлением творческой работы „историка-художника" и „историка-ученого". Мы знаем, что Шекспир дал длинный ряд трагедий, представляющих художественную *ретушировку* исторических *хроник*; что Пушкин по его примеру в „Борисе" воссоздает по летописям и Карамзину эпоху смуты; что то же делают Толстой в „Войне и Мире" по отношению к 12-му году, Менцель в живописи по отношению к истории Фридриха Великого, прэрафаэлиты Гольман Гент, Мадокс Браун, а также Тиссо по отношению к библейской истории, Эберс (знаменитый египтолог) по отношению к древнему Египту и т. д. С другой стороны, творческий процесс историка не только в былые времена, но и в современности представляет, по крайней мере, в некоторых формах исторического творчества, бросающиеся в глаза *аналогии* с художественной техникой. Я говорю не об изяществе внешней формы, не о благородной стилизированной прозе историка, ибо в этом отношении он не отличается ни от биолога, ни от химика, ни даже от математика, у которого также может быть налицо изящество (Eleganz) в построении теорий (вспомним гениального Пуанкарэ) и в способах решения задач. Нет, я имею в виду самый способ *конструкции исторического фантасма*, который, как будто, до неразличимости похож на литературный *тип*, на *художественный образ*. Ведь, нашлись же историки, которые даже в созданиях Тацита усмотрели пышное *риторическое художественное построение*, долженствующее не *описывать* и *доказывать*, а *заражать* известными чувствами и *„внушать"* известные действия. Ведь, повернулся же язык у двух историков, чтобы сказать, что творение Θукидида есть „военная эпопея", а Ранке прямо признает, что великий историк должен быть зараз и художником, и ученым. Отметим сначала черты *сходства*, чтобы потом оттенить черты *различия* между историком ученым и историком-художником. Историк описывает не индивидуальное, но всегда *типично-индивидуальное*; индивидуум, как таковой, в своей бесконечной неисчерпаемости,

несказанности, может быть лишь *бесконечно отдаленным пунктом* для научного познания. Так Лампрехт, пишет против Below'a: „Научное мышление, как частный вид мышления вообще, должно быть направлено на общее, типическое". При этом, конечно, градации общности могут быть бесконечно разнообразны, и *спецификация* при описании исторического явления может далеко опережать даже пресловутое фактопоклонничество Ѳ. Ѳ. Соколова. В другом тезисе, направленном против Below'a, Лампрехт пишет: „Единичное индивидуальное доступно лишь художественному изображению, следовательно, для истории, как науки, оно может иметь только второстепенное значение". Что художественный образ, например, в историческом романе или опере, не есть понятие хотя бы индивидуальное,—это бесспорно. Но, с другой стороны, столь же бесспорно, что этот образ *типичен*, что это *родовой* образ. Великие художники-историки, как указывал уже Гегель,—художественные реалисты, т. е. они стремятся внушить читателю чувство правдоподобности, *об'ективной возможности* изображаемых лиц и событий. Их подготовительные работы, их ученая эрудиция при создании исторического образа во многом похожа на работу историка. Чрезвычайно яркую иллюстрацию этой мысли мы находим в творчестве Пушкина, который говорит относительно образа Пимена в „Борисе Годунове": *„В нем собрал я* черты, пленившие меня в летописях, — простодушие, умилительная кротость и т. д.". М. Покровский в статье: „Пушкин и римские историки" *) показывает, что наш поэт изучал Тацита, интересуясь, во-первых, типом самодержца тирана и, во-вторых, быть может, типом самозванцев. Для интереса к психологии деспота у него был личный мотив,—ненависть к преследовавшему его Александру, которого он в одном письме называет Тиберием. Не менее интересовала его и личность другого деспота—Наполеона. Эти отдельные черточки в душе тиранов были изучены Пушкиным еще до создания типа Бориса Годунова. Проф. Покровский высказывает весьма вероятное предположение, что Пушкина могли заинтересовать и самозванцы, о которых рассказывает в „Анналах" Тацит,—история Агриппы Постумия напоминает историю Лже-Димитрия. Но при создании типа Лже-Димитрия он имел также в виду и некоторые штрихи из облика Генриха IV (на что и сам он указывает). Анализу творческого процесса при созидании „Бориса Годунова" посвящен ненапечатанный доклад Ключевского: „Борис Годунов с исторической точки зрения".

*) См. Сборник статей, посвященных В. О. Ключевскому, Москва, 1909, стр. 478—487.

Как историк слегка видоизменяет при *помощи интерпретации* единичные данные, как статистик искусной рукой слегка *сглаживает* получающиеся кривые, так художник ретуширует образы, даваемые историческими документами, также в целях их типизации, отбрасывая случайные мелочи, заслоняющие характеристическое в данном явлении.

XXXIV.

В связи со стремлением дать объективную картину изображаемых событий, и историк, и художник должны обладать даром *перевоплощаемости*. Чтобы разбираться в человеческом прошлом, надо вообще понимать людей, и только таким путем историк, а равно и художник, разовьют в себе способность *чувствовать* эпоху. Для такой перевоплощаемости и художнику, и историку нередко помогает *конгениальность* изучаемаго лица или типа с душою изучающего или *контрастная противоположность*, или и то, и другое вместе. Возьму для примера Алексея Толстого и Карлейля. Почему А. Толстому так удался в его трилогии именно царь Феодор? „Желание отказаться от блеска, уйти в себя так знакомо было Толстому. Бесконечно нежное чувство Феодора к Ирине так близко напоминает любовь Толстого к жене“ (С. А. Венгеров). Толстой понял, что Феодор „не слабоумный, лишенный духовной жизни человек, что в нем были задатки благородной инициативы, могущей дать ослепительные вспышки“. С другой стороны, если мы вспомним Ибсеновского Брандта в образе историка, представителя доктрины „или все, или ничего“ (the doctrine of „all or none“), этой мятущейся души, преисполненной великих контрастов, для которой либеральный позитивизм Милля был свинской философией, „pig philosophy“, то нам станет понятным его интерес к внутреннему миру Кромуэлля, письма и речи которого он издал, снабдив их примечаниями, „с могучим образом Кромуэлля Карлейль, можно сказать, чувствовал духовное сродство“ (Гензель: „Карлейль“, р. пер. 1903, стр. 186). Точно также Гензель замечает: „Я думаю, что французы никогда не были обрисованы лучше, чем в этих главах Карлейля о массовых движениях на старых улицах Парижа (в „Истории французской революции“). Соединение самой низменной кровожадности с самым возвышенным энтузиазмом, полной растерянности—с внезапно пробуждающеюся лихорадочной деятельностью, направленною к какой-нибудь безумной цели, ежедневные шествия на гильотину, а затем чувствительная растроганность в день мира, праздник в честь Верховного Существа,—все эти про-

тивоположные и притом одновременные обстоятельства Карлейль изображает с величайшим мастерством" (Ib., 164).

Иногда можно подметить у историков влияние политической идеологии, бытового или эстетического уклада изучаемого ими народа и изучаемой ими эпохи на их собственных вкусах и взглядах. Так, напр., культ Гомера у Шлимана был так силен, что на старости лет он построил себе большой дом в Афинах, внутри которого все напоминало Гомера. Сына он назвал Агамемноном, а дочь — Андромахой. Свой дом он окрестил именем Μέλαθρον, слуги назывались Беллерофон и Теламон. Из рабочей комнаты хозяина был виден при солнечном закате в пурпурном озарении Акрополь. С гостями-классиками Шлиман говорил на гомеровском диалекте, которым владел практически. Жена его София, жившая, подобно мужу, в гомеровском прошлом, знала, как и муж, весьма многое из Гомера наизусть и могла продолжать цитату, начатую мужем; в этом, по крайней мере, она сама нас уверяет. Гостям, затруднявшимся говорить на гомеровском диалекте, хозяин любезно предоставлял возможность изъясняться на родном языке.

И историк, и художник, долго занимающиеся изучением какой-нибудь эпохи или какого-нибудь человека, начинают сами порой *мыслить и чувствовать в унисон со своими излюбленными героями.* Флобер пишет: „В св. Антонии я сам был св. Антонием". Римский-Корсаков рассказывает, что, углубившись в течение нескольких лет в изучение и переработку опер Мусоргского, он порой самого себя чувствовал как бы Мусоргским. То же можно наблюдать и у историков. Было бы несправедливо сказать, что в этой симпатии творца к изображаемому и изучаемому объекту следует видеть лишь следствие *„логики чувств"*, ведущей к субъективизму. Едвали кто станет оспаривать, что *симпатическое чувствование*, является *необходимым* условием для понимания *мотивации* в поступках изучаемого яркого индивидуума или изучаемого „среднего человека" известной эпохи. Ведь, все науки о духе опираются на *постулат формальной однородности в организации познающего духа исследователя и познаваемой личности* в сфере истории, литературы, искусства, права или языка *). В истории неизбежно то, что академик Лаппо-Данилевский называет *„конструкцией чужого я"*, в основе которой лежит не простое логическое заключение по аналогии, но более сложный

*) Бернгейм пишет: „Die Identität der Menschennatur ist das Grundaxiom jeder historischen Erkenntniss." („Lehrbuch der historischen Methode", 1908, S. 192). Сеньобос замечает: „Еслибы факты, сообщаемые источниками, не были аналогичны с наблюдаемыми нами, мы не могли бы в них ничего понять" (Ib., S. 192).

психический процесс „влезания в чужую шкуру“ путем эмоционального сопереживания. И это соображение сохраняет всю свою силу, будем ли мы оценивать исторический роман, как научное *исследование*, или как *„научный источник“*. А между тем, любой историк, беря в руки роман Вальтер Скотта „Woodstock“, совершенно ясно сознает, что в данном случае нет места для „интерпретации“ этой книги в качестве исторического научного источника. А казалось бы, бытовые подробности, скажем „Дочери египетского царя“ Эберса, так же скрупулезно точны, как и картины русской жизни в „Быте московских царей“ Забелина. Естественно, что все вышеприведенное приводило и еще и теперь приводит к некоторой *спутанности мысли* у историков по поводу взаимоотношения эстетического и научного момента в образовании *фантасмов* исторического воображения. В давние времена Лессинг указывал (52-е письмо) на зависимость *художественного* исторического изображения от полноты или неполноты источников, а Гервинус советовал историку выбирать темы, *подходящие* для художественного изображения, и если Ранке осторожно заявляет: „Die Historie ist zugleich Kunst und Wissenschaft“, напирая на первенство научного момента, то Зибер *) отожествляет творчество поэта и историка, строя силлогизм по второй фигуре с двумя утвердительными посылками:

Историк нуждается в фантазии.
Поэт нуждается в фантазии,
Значит, поэт и историк—одного поля ягоды.

Указанная спутанность мысли имеет одинаково невыгодные последствия и для историков в глазах исторической критики, и для художников в глазах художественной критики. Если история есть

*) Одним из поводов к смешению научно-исторического фантасма с поэтическим образом, я полагаю, является веками освященная литературная традиция, ведущая свое происхождение из „Поэтики“ Аристотеля; в ней Аристотель, с одной стороны, *интеллектуализирует эстетическое удовольствие*, чрезмерно сближая поэзию с *научным* познанием: „Мы созерцаем с удовольствием подражания, потому что отсюда получается нечто поучительное, например, при рассматривании портрета, когда мы устанавливаем сходство его с оригиналом“; с другой стороны, Аристотель *обесценивает научное значение исторического познания*, которое-де индивидуально, не имеет того *типизированного, обобщенного*, очищенного от иррациональных *случайностей* характера, каким отличается истинное поэтическое произведение, которое он считает более *философским* и серьезным, чем историческое повествование (Гл. IX, 1451, в 5), „ибо поэзия занимается более *общим*, а история *единичным*.“ Аристотель не оттеняет здесь того факта, что типичность в художественном произведении есть лишь обобщенный образ, *воздействующий на эмоциальную впечатлительность*; история же, с другой стороны, вовсе не останавливается на единичном, но стремится к установке *обобщений, объективно* значимых для *познания*, и выражаемых *в понятиях*.

искусство, то к ней возможно со стороны серьезного ученого только радикально-скептическое отношение. Если все источники и их истолкования недостоверны, как плод субъективной фантазии, то анекдот о лорде Ралей приобретает глубокий смысл. Об этом лорде рассказывают, что он сжег второй том своей „Всемирной истории" после того, как убедился, что сцена, которую он видел на улице собственными глазами из своего окна, была истолкована другим очевидцем совершенно иначе. Наоборот, художникам-историкам достается от поклонников субъективизма и символизма в искусстве за излишнюю верность действительности, за „реализм", за „быт", за „этнографию", причем в своем усердии обелить великих писателей от „реализма" наши критики договариваются до того, что Гоголь оказывается фантастическим писателем, а Островский не живописателем „темного царства", а символистом, как будто фантастика, художественный реализм и символизм не представляют элементов творческого целого, вполне совместимых между собою.

Отметив черты *сходства* между фантасмами поэта и историка, обратимся к существенным чертам *различия*. У историков литературы есть излюбленная формула: „Поэт мыслит образами". Буквально понимаемая, она имеет столько же смысла, как фраза: „Философ сердится по второй фигуре силлогизма". Она попала в историко-литературный оборот от немецких философов романтиков Шеллинга, Гегеля и Шопенгауэра, которые склонны все трое рассматривать эстетическое творчество и созерцание, как особый сверхрассудочный, мистический орган познания. Так Шопенгауэр, как указывает Fauconnet в своей книге: „L'ésthetique de Schopenhauer", p. 1 (1913), высказывается следующим образом: „Wir betrachten das Schöne, als eine *Erkenntniss* in uns, eine *ganz besondere Erkenntnissart*" (Nachl., II, 63). В настоящее время туманное противопоставление обычному рассудочному роду познания необычного (мистического) вполне покрывается отчетливым противопоставлением двух родов мышления— *познавательного и эмоционального* (см. подробности в моей работе о книге Генриха Майера: „Психология эмоционального мышления", Новые идеи в философии, вып. № 15). Эмоциональное мышление отличается от познавательного тем, что в нем, хотя и имеются налицо познавательные процессы, но фокус внимания, *курсив* всего процесса положен на конечный эмоциональный эффект. Таково и эстетическое „мышление". Мыслить образами абсолютно невозможно, но можно, *созидая образы, давать чувствовать себе и другим их типичность* и тем вызывать чувство *единства в многообразии* эстетического содержания. Но, создавая *типический родовой образ*, поэт не

восходит к *понятию*, к нечувственной области мышления. Он останавливается, так сказать, *у порога* чистого мышления. Прометей, Гамлет, Ричард III, Борис, Чичиков, Эжени Гранде и т. д. не суть понятия, но родовые образы. Поэма, роман, драма, опера *суть целостные системы родовых образов*, образующие стройное, но *не логическое, а эмоциональное единство*. Такое единство не *убеждает*, а *заражает* нас, не *доказывает*, а *внушает*. Первородный грех литературно-художественной и научно-исторической критики заключается в смешении двух различных *планов* творчества—познавательного и эмоционального мышления. Так, напр., я помню, как отрицательно относился покойный академик Александр Николаевич Веселовский к „Нибелунгову Перстню" Вагнера. Его шокировали резкие отступления от духа скандинавской „Эдды". Известный историк церкви проф. Никольский говорил мне, что ему портит эстетическое наслаждение от „Китежа", Бельского—Римского-Корсакова мысль о синкретизме образов, вошедших в художественную ткань этого произведения. С другой стороны, стремление художников быть строго реалистическими в исторической живописи даже в *мелочах быта* приводит иногда к бесплодным результатам. Когда Гольман Гент, работая над картиной „Юный Христос во храме", пустил в ход все свои археологические познания, то все же в итоге оказалось, как ему заметил один старый раввин, что он неверно нарисовал обувь на ногах действующих лиц: в той местности никогда не носили такой обуви.

Если поэт *останавливается* на родовом образе и не идет дальше, то историк *начинает с конструкции родового образа*, чтобы перейти к научному *понятию*. Это осуществляется следующими путями:

I. По принципу *кинематографа*: берется ряд однородных родовых образов, характеризующих какое-нибудь явление, отличающееся *частою повторяемостью* в известной среде, в известную эпоху и, по выражению проф. Л. П. Карсавина, *бросаемостью* в глаза. Данный ряд образов, когда мы его пробегаем, *намечает перед нами* среднего человека не для нашего чувства, а для *нашей мысли*. В поэзии подобная кинематографическая смена образов имеет целью породить слитное общее эмоциональное впечатление, *обобщенную эмоцию*, так, напр., стихи:

Швед, русский, колет, рубит, режет,
Бой барабанный, клики, скрежет,
Гром пушек, топот, ржанье, стон,
И смерть, и ад со всех сторон,—

дают подобный слитный, типический, эмоциональный эффект. Наука же идет к установке общего понятия. Зиммель спра-

ведливо указывает, что историки нередко погрешают, обобщенно характеризуя целую социальную группу на основании наблюденных отдельных голосов; таким образом, их характеристика группы оказывается построенной на *суб'ективном* впечатлении. Вот примеры, приводимые Зиммелем: Моммзен: „Римская история". „Гневные восклицания раздались по всей Италии". (II, 145). „Марий выказал себя полководцем, который не давал *солдату* воли и все же держал его в добром расположении духа, и все же приобретал любовь его товарищескими отношениями" (II, 192). „Аристократия не дала себе ни малейшего труда скрыть свою озабоченность и свой гнев" (III, 190). „Партии возликовали" (III, 193). Бурхардт: „Культура возрождения". „С возбуждающей ужас наивностью Флоренция признает свои гвельфские симпатии французам" (I, 89). „В страшные моменты пробуждается там и сям жар средневекового покаяния, и испуганный народ бичеваниями и громкими воплями о милосердии хочет смягчить небеса" (II, 232). Еслибы Зиммель только призывал к более строгому обоснованию подобных *обобщенных* характеристик, то ему можно было бы только сочувствовать, но, к сожалению, Зиммель типичный скептик и нигилист в психологии. Он мог бы написать, подобно д-ру Мебиусу, брошюру: „Hoffnungslosigkeit aller Psychologie", ибо в „Социальной дифференциации" Зиммель защищает следующую мысль: любому психологическому обобщению можно противопоставить столь же истинное другое, например: *истинно, что разлука ослабляет любовь,* но столь же истинно, что *разлука и усиливает любовь,*—рассуждение достойное Дионисидора и других прелюбодеев мысли среди софистов, которых так зло осмеивает Платон. Между тем добросовестный и чуткий историк при формировании *исторического фантасма* руководится об'ективно значимыми соображениями: *комбинационной способностью,* сочетанием работы *мысли* и фантазии, тем, что В. Гумбольдт называет Verbindungsgabe, при помощи которого он *интерполирует и экстраполирует* пробелы источников.

Вот элементарнейший пример, проводимый Бернгеймом. Источники указывают, что какой-нибудь средневековый король находился 6 февраля такого-то года в Вюрцбурге, а 9 февраля в Нюрнберге. Если принять во внимание, что

1) он не мог тогда перелететь в Нюрнберг на аэроплане,

2) что по условиям времени переезд из Вюрцбурга в Нюрнберг занял бы 2—3 дня,—мы заключаем, что от 6-го до 9 февраля король был в дороге. Такие догадки, конечно, лишь вероятностны, но без них немыслима не только история, но решительно никакая наука, и

лишь *гиперскептическая глупость* могла бы отвергнуть их, как недоказанные *домыслы*.

II. Наряду с *„кинематографическим“* принципом в процессе установки научных понятий истории возможно и непосредственное пользование анализом известной исторической личности, в качестве *родового образа*, типичного *среднего человека* известного общественного слоя известной эпохи. Таков, напр., метод работы у Бицилли, в его интересной книге: „Салимбене“, где этот автор хроники XIII в. рассматривается, как лишенная яркой индивидуальности, но типичная для известного времени и места рядовая фигура.

III. Возможно образование уже не фантасма, не образа, а *статистической схемы среднего человека*, устанавливаемой путем *количественного* подсчета повторяемости известных типических черт в известной социальной среде,—это метод „социальной физики“ Кетеле. Такого же порядка схемы и графики для *исторических процессов*, непрерывная изменяемость коих поддается количественному измерению, и методика измерения *массовых явлений*, установленная Лексисом. Здесь уже область *фантасмов* переходит в область *отвлеченных* понятий.

IV. Наконец, возможна попытка воссоздания исторического фантасма *индивидуально-типического*. Чем отдаленнее от нас или беднее, источниками эпоха, тем труднее и недостовернее историческая *реконструкция* такого образа, тем более интуиция историка приближается к интуиции художника, тем больший простор открывается для *дивинации* историка, тем больший соблазн „de solliciter les textes“, тем меньше данных для проверки *об'ективной возможности* догадки, тем более возможен упрек со стороны критика, что историк делается поэтом. Такие упреки, напр., делались Ренану. По словам Моно, однако, Ренан прибегает к дивинации лишь там, где недостаточно исторических свидетельств (жизнь Христа, жизнь Будды, происхождение Израиля). Сам Ренан разграничивает историческую реконструкцию (reconstitution) личности от художественной. На упрек в поэтическом произволе при построении исторического фантасма он пишет (20 августа 1863 г.): „Я не думаю, что подобного рода попытка реконструкции оригинальных личностей прошлого так произвольна, как это вам кажется. Я не видел (данной) личности, у меня нет ее фотографической карточки, но у нас имеется множество деталей для ее характеристики (son signalement). Попытка сгруппировать все эти частности в нечто живое не столь произвольна, как чисто идеальная процедура Рафаэля или Тициана. Что же касается очарования, которое вносил с собой Иисус, то это должно было быть

его отличительной чертой в гораздо большей степени, чем разум или величие. „Иисус, прежде всего, был чаровник (charmeur)“ (см. Monod: „Les maîtres de l'histoire: Renan, Taine, Michelet“ 1889, pp. 44—46). В предисловии к „Histoire du peuple d'Israel“ Ренан идет навстречу тому, что он называет *слепым* скептецизмом: „Виноват ли я,—говорит он,—что Моисей на том расстоянии, которое отделяет его от нас, представляется какою-то бесформенною глыбою, вроде соляной статуи, в которую была превращена жена Лота? Моисей, если он действительно существовал, чему имеются полные основания верить, жил на 14 или 15 веков раньше Христа. Иисус известен нам хотя бы через одного современного свидетеля—Апостола Павла. Его легенда создана вторым или третьим поколением, жившим после него. Древнейшие легенды о Моисее относятся к четвертому или пятому веку после его смерти, а то и позднее“. „Старые эпические рассказы искренние по своему, теократическая ретушировка (древних текстов), переделки жрецов *налагаются* нередко на тот же параграф, и надо иметь испытанное зрение, чтобы их различать. Проблема аналогична дешифрированию геркуланских свитков, где глаз прежде всего схватывает контуры букв, но еще нельзя сказать, к какой странице они относятся, так как листы слиплись и образуют сплошную обугленную массу“. Так и в Библии „различные редакции взаимно проникают друг дружку“.

XXXV.

Присмотримся ближе к процессу образования индивидуально-типического фантасма в истории. 1) Исходным пунктом здесь являются *иконографические данные,*—они или проливают свет на подлинную психологическую природу изучаемого лица, или отображают представление о нем современников и потомков. Нередко, особенно в отношении к тем фигурам, которые Ренан называет „images préhistoriques,“ трудно отделить реальные черты от идеализированных изображений. Это наблюдается нередко и в исторические времена. Так, всем нам знакома голова Платона: 1) по бронзовому бюсту в Уфицци и 2) по бюсту (в Неаполитанском музее), найденному в Геркулануме в 1759 г. Но в 1881 г. Рейнак нашел в Смирне мраморный бюст, а в 1886 г. он же заметил в Берлинском музее аналогичную мраморную голову с надписью Πλάτων (относящуюся, судя по форме букв, к эпохе не ранее Антонинов). Теперь насчитывается до восьми подобных бюстов. Равессон находит в них значительно менее идеализации прежде известных изображений. Изображение для историка

интересно с многих точек зрения: для установки *реальности* данного лица или *реального тожества* индивидуума, носящего в истории два имени, или для определения его *расовых* черт, или его *фамильного* сходства и т. п. Но ценность психологических показаний иконографии во всем их значении еще принадлежит будущему, в связи с дальнейшим прогрессом физиономики.

II) К иконографическим данным примыкает то, что Брунс в интересной книге своей называет *литературным портретом* исторической личности („Das Literarische Portrât der Griechen im V-ten und IV-ten Jahrhundert", 1896). Мы находим характеристику исторического лица, его внешности, его habitus'a, его манер, привычек, поступков, его modus'a cogitandi, sentiendi et agendi у современных поэтов, ораторов и философов (не говоря уже об историках). Это еще не научная психологическая характеристика, но она может быть весьма ценным материалом для таковой. Литературный портрет у оратора искажен моральными или политическими мотивами, у поэта—эстетическими, у философа—партийно-философскими, но всеже подобный портрет представляет весьма ценный исторический источник. Напомню о работах Іоэля о Сократе у Ксенофонта, работу Гилярова-Платонова о Платоне, как источнике исторических данных о софистах. Идеализация и карикатурность образов, конечно, должны быть строго учтены историком, но иногда, как справедливо замечает Брунс (в унисон с Маколеем), карикатура может метче и вернее схватывать подлинные черты лица, чем в серьез написанный портрет.

III) За литературным портретом следуют *подлинные высказывания* данного лица, написанное им или сказанное и точно записанное другими. При чтении источников историк синтезирует в воображении: A—образ лица, B—черты его духовной физиономии и habitus'a по словесному описанию и C—его подлинные писания и высказывания.

IV) Далее, в распоряжении историка может быть *научно-психологическая характеристика.* Такая характеристика отличается от литературной своей *методичностью,* она основывается на данных *характерологии,* в основу ее кладется исследование личности, составленное по известному плану, что, конечно, не освобождает психолога от дара перевоплощаемости, от уменья почувствовать целостное единство личности. Исследование личности приводит к установке известной законосообразной взаимозависимости всех основных наклонностей данного лица, т. е. к понятию *корреляции* ее коренных свойств. Эта область психологии настолько мало разработана, что может оказать существенную помощь историку лишь в будущем.

V) Для историка в первую голову важна не корреляция всех психических наклонностей данного лица, но лишь ее *исторически действенные* черты, они-то и образуют *исторический* фантасм.

VI) Наконец, историк выявляет в исключительной индивидуальности данного времени черты *среднего человека* эпохи, и

VII) раскрывает в ней присутствие сверхличных социальных и политических сил данной эпохи (Об этом см. ниже в главе VI-й: „Творческая мысль“).

XXXVI.

Психологический дар перевоплощаемости, как мы видели, необходим и для историка, и для поэта, но эта способность служит совершенно различным целям. Поэт стремится дать живой образ, поэтому он не только описывает действующее лицо, но (в романе или драме) *влагает ему в уста речь*. Историк стремится, подобно психологу, к *исследованию личности*, к об'ективной установке в виде понятия *корреляции основных психических наклонностей*, но и от психолога он глубоко отличается тем, что направляет внимание главным образом на *исторически действенные* стороны характера. Поэтому с точки зрения *чисто психологической* желательно *произвести заново* исследование великих исторических личностей *более полное*, по сравнению со специально историческим. Древность не так разграничивала задачи художественно-риторического и научного описания исторической личности. Так, Лукиан в своей интересной статье: „Πῶς δεῖ ἱστορίαν συγγράφειν“ хотя и советует историку с весами в руках взвешивать события беспартийно, *„преследовать с победителями и бежать с побежденными“*, но все же он допускает поэтическую фикцию. Если иногда приходится заставлять говорить действующих лиц, то „необходимо, чтобы они держали речь, *свойственную их характеру и ходу событий*, и чтобы они притом выражались с особенной ясностью; впрочем, в подобном случае вам дозволительно показать ваш талант хорошо говорить и проявить ораторские способности“ (58-й абз.).

У гениального историка древности Θукидида, который поражает своим стремлением быть беспристрастным, чуждым „логике чувств“, который стремится дать в историческом повествовании „κτῆμα εἰς ἀεί“, а не модное, преходящее, но привлекательное произведение, мы встречаем именно такие речи. „Современный историк,—пишет Круазе („История греческой литературы“, стр. 405),—сознает важность речей, произнесенных действующими лицами, участвовавшими в том или ином историческом событии; из уважения к этим лицам, раз он не

в состоянии воспроизвести эти речи вполне точно, он их и не передает". Θукидид же влагает в уста своей dramatis personae длинные речи (его предшественники создавали диалоги), „зачастую это нечто вроде длинных *демагорий*, произносившихся в народном собрании". Θукидид не стремится точно воспроизвести их и „даже когда он имеет под руками официальный текст письма, посланного Никием афинскому народу, он переделывает его без всяких церемоний на свой лад". Он концентрирует смысл речи в сжатую форму, два—три раза противопоставляет ей речь противника и, как в „Тетралогиях" Антифона, дает диалектическое противопоставление двух взглядов. Речь или влагается в уста государственного мужа, являющегося типичным выразителем известной политической партии, или же она анонимна. „Речи составлены у меня,—пишет сам Θукидид,—так, как, по моему мнению, каждый оратор, сообразуясь всегда с обстоятельствами данного момента, скорее всего мог говорить о настоящем положении дел, причем я держался возможно ближе общего смысла действительно сказанного" (1, 22, 1).

Ту же ораторскую наклонность в изображении характеров отмечает Тэн в своей превосходной книге о Тите Ливии. Стремление оратора *внушить* читателю известные чувства при изображении исторической личности неизбежно вносит в ее описание одностороннее влияние логики чувств: оратор выпускает в описании невыгодные с его точки зрения черты, а в другом месте усиливает светлые стороны (или действует обратно, т. е. сгущает темные краски). Вот почему его характеристики не являются достаточно *жизненными*. Так, например, величественный и благородный образ Фабия Максима внушает в изображении Ливия недоверие у читателя. Портрет слишком абстрактно схематичен. „Тэн находит,—говорит проф. Герье,—*недостающее* Фабию Максиму в одной мелкой подробности у Плутарха, которая, конечно, не годилась для Ливия. Плутарх сообщает, что Фабия звали в детстве *овечкой* за его кротость и медленность темперамента. Тэн овладевает этой чертой, с мастерством об'ясняет ею другие черты характера Фабия, проливает свет на его образ мысли и действия, и перед нами совершенно живое и индивидуальное лицо, не поддающееся ораторскому прославлению" („Метод Тэна", Вестник Европы, 1889, 9). Зато Тэн восхваляет Ливиеву характеристику римского народа. Группируя у Ливия ряд эпизодов в одну *мозаичную картину*—„image générique" римского народа, Тэн синтезирует черточки, которые все разбросаны в разных местах у Ливия (Ib., стр. 110).

XXXVII.

Подобного рода ораторские фикции были уместны в произведениях прежних историков древних (Θукидида) или новых (Гиббона) при изложении „нарративного", повествовательного характера. Современный историк при процессе *вчувствования* в эпоху связан условиями „об'ективной возможности" гораздо более строгими, чем в былые времена. Блестящие догадки при приникновении в дух источнников, как при составлении характеристики выдающихся исторических личностей, так и при описании среднего человека известной среды, общего уклада жизни данного времени, требует при анализе источников 1) *методического скепсиса* по отношению к фактам, 2) самого скрупулезного внимания к *мелочам*, кажущимся на первый взгляд несущественными, и 3) прочно установленной *индуктивной базы* для своего подтверждения.

1. „Тридцать лет тому назад,—писал Фюстель де-Куланж,—Жюль Симон об'яснил мне „Речь о методе" Декарта, и этому я обязан всеми моими трудами, так как *картезианское сомнение*, которое он *заронил в мой ум*, было приложено мною *к истории*" (Гиро: Ф. де-Куланж, 1894, стр. 7). В то время, как поэт-историк из эстетических и психологических соображений нередко делает легендарные подробности сказания, и даже и сам привносит легендарное от себя, историк—профессиональный *беспощадный разрушитель легенд*.

Много ли осталось от царского периода истории Рима после подозрений Нибура, осторожной, но нерешительной критики Швеглера и сокрушающего анализа Моммзена, после которого, по словам проф. М. М. Хвостова, уже почти ни один историк не решается отстаивать истинность этих легенд?! Конечно, легендарность Шекспира с другой стороны, есть плод гиперкритической глупости Бэконианцев. По адресу подобных скептиков во славу парадокса написан памфлет Уэвеля, в котором убедительно доказывается, что Наполеон Бонапарте есть мифическое лицо, которому в истории не соответствовало никакой реальности.

2. Внимательное отношение к *деталям* источников, та „акрибия" которая поверхностному наблюдателю может казаться излишней, тесно связана с чувством действительности, долженствующим сопровождать образование исторического фантасма. Об этом единодушно свидетельствуют такие историки, как Фюстель-де-Куланж и Моммзен. Последний говорит: „Отдельный факт, который вы изучаете, нередко представляется ничтожным по своему значению, результат же *сцеп-*

ления таких фактов имеет для истории часто больше значения, чем битвы народов и государственные отношения. Вы должны систематически выводить крупное и целое из мелкого и часто незначительного" (Приветственная речь Шмоллеру при его вступлении в академию наук).

3. „Об'ективная возможность" догадки зависит от основательности процесса исторической индукции. Историк должен *сдерживать себя у порога соблазнительной догадки, если фактические данные недостаточны.* Вот как противопоставляет историческую проницательность Нибура и Моммзена проф. Ѳ. Фр. Зелинский: „У Нибура индукционная цепь очень коротка, ему надо немного данных, и закон уже готов; весь остальной индукционный материал в соображение не принимается... Совершенно другое дело Моммзен. Его индукционная цепь всегда полна, он не позволяет себе ни малейшего заключения, пока не соберет всех данных, имеющих к нему отношение. Результат налицо". Положения Нибура в настоящее время имеют более исторический, а не научный интерес, а положения Моммзена бесспорны („Моммзен", статья Зелинского, Научное Обозрение, 1894).

При построении исторического фантасма историк восполняет догадкою или *недостающие в источниках психические черты данной личности,* или ея поступки. Такая догадка строится в пределах *правдоподобного,* которое определяют *тремя путями*: 1) интуитивным непосредственным *чувством правдоподобности*) innere, Wahrscheinlichkeit (по выражению Бернгейма), но это чувство без критической проверки не имеет об'ективной значимости, 2) *качественным анализом* вероятностей pro и contra известной альтернативы. Для такого анализа в распоряжении историка имеется весь арсенал его специальных знаний, но, сверх того, здесь играет роль и общий уровень его интеллигентности и психологической чуткости. Исторические процессы, как и психологические, заключают в себе *качественно не соизмеримые* факторы, поэтому качественный анализ вероятностей догадки есть основная операция исторической критики. По словам Daunou („Cours d'études historiques" v. I, p. 42), пандекты Юстиниана, по мнению прежних источников, были найдены в Амальфи в 1135 г. Гиллинг приводит доводы, говорящие против этого утверждения. Качественный анализ аргументов за и против приводит нас к признанию более вероятным второго взгляда. „Я осмеливаюсь утверждать, говорит Дону,—что во всех вопросах новой или древней истории внимательное изучение отношений документов, показательных данных окажется всегда достаточным, чтобы признать известный факт вероятным или невероятным, что случай полной равновозможности (d'un

equilibre parfait) окажется исключительно редким, и что, следовательно, не вводя в историческую науку, бесполезного аппарата calculi probabilium, можно почти везде достигнуть результатов точных в той мере, в которой это допускает природа и различные элементы этой науки". 3) Качественный анализ вероятности, как я сказал, есть основной метод историка, но вопрос о применимости в истории *количественного анализа вероятностей* этим еще не предрешается на будущее время в отрицательном смысле, хотя одно можно сказать наверное,—он никогда не будет в истории, как и в психологии, *основным*, ибо в обеих науках *качественное разнообразие* изучаемых явлений исключает применение принципа *равновозможных случаев*, что так убедительно показал Бине в области психологии (см. Année psychologique, 1895 г., статья о применении теории вероятностей в психологии). „До сих пор попытки применять принципы теории вероятностей в истории, начиная с знаменитых опытов Лапласа, ограничивались определением вероятности *свидетельских показаний* и к изучению *массовых явлений*, в истории, где история соприкасается со статистикой. Вот тут-то разница между художником, пишущим исторический роман, и историком-ученым особенно ярко сказывается. Художник хотя и принимает в рассчет качественный анализ фактических и логических оснований для непосредственного чувства правдоподобности, но недостаточно углубляется в этот анализ, увлекаясь *психологической правдоподобностью* и *художественной эффектностью* образа, но забывая, что изображенные в нем черты несовместимы с другими историческими показаниями о его духовном складе. Наполеон в изображении Толстого *карикатура*, а не исторический образ, „Бандит вне закона", со всем тем бессилием двигать мировыми событиями, какое ему приписывает Толстой, образ столь же живой и психологически правдоподобный, как и идеализированная фигура, предносившаяся воображению Лермонтова, но, созерцая образ, рисуемый Толстым, чувствуешь что он, вопиюще противоречит многому в предшествующей русской кампании деятельности Наполеона, на что указывает Сорель в своей превосходной статье: „Tolstoi historien" („Lectures historiques" 1894, p. 285). Толстому отлично известно это многое, но он или умышленно умалчивает об этом и хочет заставить забыть читателя, или неверно передает факты, относящиеся к этому времени.

XXXVIII.

При построении исторических фантасмов ученый не только идет от частей к целому, но и от целого к частям. Это целое— человеческая личность, в которую он стремится вчуствоваться; пси-

хологический дар целостного постижения духовного уклада эпохи так же нужен историку, как и аналитическая проницательность. Проф. Хвостов пишет по поводу занятий Моммзена эпиграфикой в Италии следующее: „Такая на первый взгляд сухая дисциплина положительно увлекла его. И это понятно. Отдельная надпись может казаться сухой, скучной и бессодержательной, интересной лишь для ученого буквоеда. Но если в эти таблицы с самым разнообразным содержанием, на которых написаны и законы, и списки магистратов, и похвальные надписи государственным и муниципальным деятелям, и просто подробные эпитафии и исторические хроники,— если весь этот сухой в его разрозненности материал соединить вместе да осветить при помощи литературных и археологических памятников, то надписи начинают оживать, из-за них на нас смотрят живые люди. Пред вами встают и исторические личности, и простые обыватели захолустного городка; вы можете по иной надписи определить всю карьеру какого-нибудь римского чиновника, следовать за ним из Африки в Малую Азию, из Азии в Галлию, всюду, куда он переходит, двигаясь по своей служебной лестнице. Через посредство надписей вы проникаете в африканский поселок с полу-крепостными крестьянами, видите эксплоатирующих их чиновников, видите и центральных администраторов, пытающихся внести порядок в эти отношения. Читая надписи, вы проникаете в испанский рудник периода римской империи и знакомитесь с чернорабочим“ (Хвостов: „Моммзен“, „Научное Слово“, 1904, № 1). Но было бы ошибочно думать, что *живое лицо* в этом процессе может получиться путем интеграции бессвязных фрагментов. Это было бы совершенно *непонятным чудом*. Историк одновременно двигается от частей к целому и от целого к частям. По аналогии со своим духовным складом он намечает целостный образ человека иной эпохи,—пробелы документов он восполняет при помощи своего Verbindungsgabe, вживаясь в дух данной эпохи. Но прежде чем достигнуть этого, историк в большей степени, чем объективный художник, должен элиминировать свои *личные* чувства. „Я требую от историка,—пишет Фюстель-де-Кулянж,— независимости от самого себя, свободы по отношению к собственным мнениям, отречения от настоящего и, насколько это возможно, полного забвения вопросов, которыми занимаются вокруг него“. Фюстель-де-Куланж рекомендует смотреть на факты так, как глядели на них современники, а не так, как их представляет себе современный человек („La monarchie franque“, p. 303). Только при соблюдении этого условия можно развить в себе способность *перевоплощения* в дух эпохи: „Тексты не всегда бывают достоверны, но

история составляется всегда только по текстам. Лучший историк— тот, который *пишет* и *даже думает* только по текстам" („La monarchie franque", 33, 69).

Психологическая чуткость и проникновение в дух эпохи дает возможность историку, как и художнику, проявлять, так сказать, *перевоплощаемость второго порядка*. Подобно тому, как Пушкин, по меткому указанию Д. Н. Овсянико-Куликовскаго, в „Повестях Белкина" дает нам ряд рассказов, перевоплощаясь в скромного Белкина и излагая события под его углом зрения (см. мою книгу: „Проблема чужого я", 1910, стр. 128-я), так и Ключевский, великолепно постигая идеологию XVI века и превосходно владея тогдашним языком, дает нам *характеристику монаха XVI века по представлению современного ему боярства*: „Это раболепный ласкатель и потаковщик властей, исполненный презирства и гордости с низшими, расхититель и наставник расхитителей, тунеядец, питающийся мирскими крестьянскими слезами, шатающийся по городам, чтобы бесстыдно выманить у вельможи село или деревнишку, жестокосердый притеснитель своей братии крестьян, бросающийся на них диким зверем, сребролюбец ненасытный, жидовин-ростовщик, лихоимец и прасол, пьяница и чревоугольник, помышляющий только о пирах и селах с крестьянами, возлюбивший вся неподобная мира сего, не десятый чин ангельский, не свет мирянам, а „соблазн и смех миру всему" (см. Сборник: „Воспоминания и характеристики". Ю. Айхенвальд: „Ключевский мыслитель и художник", стр. 131, 1912 г.).

Процессу перевоплощаемости историка также иногда благоприятствует *конгениальность* между тою социальною средою, в которой он вырос, и тою, которую он изображает в исторической перспективе. Это можно видеть на биографиях Мишле и Ключевского. Мишле вышел из народа, он был сыном типографщика, его отец был из пылкой холерической Пикардии, мать—из страны суровых арденцев. По переселении в Париж семья впала в нужду, Мишле стал наборщиком, и мир рабочих сделался ему родной стихией. Всю жизнь впоследствии его одушевляла горячая любовь к народу, из его исторических трудов лучшие страницы оказывались те, где дано изображение французского народа. О его истории французской революции Моно пишет: „Это не история, это эпическая поэма в семи томах, где героем является народ, олицетворенный в Дантоне. Возможно, что историческая критика оставит лишь немногие части неприкосновенными в труде Мишле, но многие пассажи, взятие Бастилии, праздник Федерации, например, запечатлены непреходящей красотой великих литературных созданий. Единственный из французских

историков революции Мишле делает понятным легковерный и возвышенный энтузиазм, охвативший Францию и Европу накануне 1789 г." (см. Monod: „Renan, Taine, Michelet", 1895, p. 205—6). Подобное же явление мы наблюдаем и в историческом творчестве Ключевского, этого великого мастера в живописании духовных черт русского крестьянства. Ключевский был сыном дьячка села Вознесенского Пензенской губ. „Та симпатия к русскому крестьянину земледельцу, которою проникнуты научно-литературные труды Василия Осиповича,— пишет проф. Любавский,—его обостренный интерес к судьбам этого крестьянина, восходят своим первоначалом несомненно к впечатлениям его детства и юности" (см. статью „Василий Осипович Ключевский", стр. 1, Сборник: „Воспоминания и характеристики", 1912). Равным образом и принадлежность к духовному сословию дала возможность Ключевскому понять сердцем религиозность народа: „От близкого ему родного храма он унес теплое чувство к церкви и возвышенный взгляд на нее, как на организацию, долженствующую просветлить окрестный мрак и смягчить окружающую грубость, на организацию, которая, по его выражению, „воспитывая верующего для грядущего храма, постепенно обновляет и перестраивает и град „здесь пребывающий" (Н. М. Богословский: „Ключевский, как ученый", стр. 27).

Большое значение имеет также близкое соприкосновение с прежним *бытом* и *памятниками искусства*. Иногда толчком к пробуждению жажды проникнуть в духовную жизнь былого времени являются *музейныя* впечатления. Вот что, напр., рассказывает Мишле о тех впечатлениях ранней юности, которые пробудили в нем интерес к истории: „Именно в музее французских памятников я впервые живо ощутил историю (j'ai eu d'abord la premiére vive impression de l'histoire). Я заполнял эти гробницы моим воображением, сквозь мрамор я чуял этих мертвых, и не без некоего трепета входил я под низкие своды, где почивали Дагобер, Хильперик и Фредегонда" (Monod: „Les maitres de l'histoire: Renan, Taine, Michelet", 1894, p. 188). Подобную же вдохновляющую историка роль играет нередко путешествие по той стране, прошлое коей изучается историком. Таково путешествие Ренана в Палестину.

Весьма интересны в этом отношении письма из Греции Эрнста Курциуса к его родителям и друзьям. Он побывал в замечательнейших в историческом отношении местах Эллады, участвуя в раскопках, дешифрируя надписи, изучая памятники искусства. Читая его яркие описания этого путешествия, видишь, как приобретенные ранее и на месте *книжные знания* приходят в плодотворный контакт с впеча-

тлениями из окружающего мира. То его занимает опознание Росэум в одном памятнике изображения Эвбулида, о котором упоминается о Павзания (см.: „Ein Lebensbild in Briefen“, 101), то он пишет: „Вчера.. мы собрались вместе читать „Характеры“ Теофраста... который дает повод сравнивать новые нравы, поговорки, выражения с прежними“... (Ib. 101). По поводу посещения афинского Акрополя он пишет: „Ищешь и всегда находишь новое на этом примечательнейшем месте истории. Многое тотчас же приходит в голову путем поражающей догадки (vieles belohnt gleich durch frappante Aufschlüsse). Другое в качестве подмеченного запоминается, дабы найти себе об'яснение при подходящих аналогиях“ (Ib. 135).

Точно также Маколей, работая над историей Англии, предпринимает ряд путешествий по Англии, Шотландии и Ирландии. „Чтобы усилить свои впечатления и запас местных сведений, он обходил пешком целые графства, собирал предания и легенды, подмечал обычай и воззрения, отголоски минувшего в настоящем. В Соммерсетшире, близ места сражения под Седжмуром, где Монмут был разбит Иаковом вторым, он провел несколько недель в скромной деревенской гостинице, изучая местность, и тут написал этот эпизод „Истории“ (см. Е. В. Барро: „Маколей, его жизнь и деятельность“, 1894 г. стр. 70).

Равным образом в автобиографии Шлиманна (Heinrich Schliemann's Autobiographie, 1882) бросается в глаза пробуждение исторического интереса в раннем детстве в связи с влечением к *романтике*. Как у маленького Вальтер-Скотта, у Шлимана фантазия в детстве была возбуждена фантастическими рассказами о старинных замках, которые имелись на месте его родины. Его увлекали рассказы о *старинных* (*языческих*) *могилах* и кладах, находящихся в них. Шести лет он уже мечтает о раскопках. Узнав от отца, пастора, легендарную историю Трои и получив от него в подарок краткую иллюстрированную историю для детей, он нашел в этой „Weltgeschichte für Kinder“ (Jerrer'a) картинку, изображающую пылающую Трою. Отец говорил ему перед тем, что от Трои ничего не сохранилось. „Ты ошибся, отец, Иеррер наверно видел Трою, иначе он не мог бы ее здесь нарисовать“. Отец об'яснил ему, что это фантастический рисунок. Это не помешало сыну остаться в уверенности, что остатки оснований стен все же должны были сохраниться. И много лет спустя, мечта его раннего детства наполовину сбылась: он сделал ряд величайших открытий (микэнская культура), и если что и помешало ему открыть именно Трою (Дерпфельд показал, что это был *шестой*, а не *третий* отстоящий от моря город), то причина его ошибки была *через чур слепая романтическая вера в поэтический источник—Гомера, как в истори-*

ческий документ (см. статью проф. Бузескула, Энц. Словарь Брокгауза и Ефрона, 1-е изд., „Шлиманн").

Тэн первый подчеркнул важность общих *психологических знаний* для историка при попытках *„воскресить угасшия чувства и страсти"*. „Я, например, не думаю,—говорит он,—чтобы историк мог иметь ясное представление о браминах и буддистах Индии, если он не изучал предварительно экстаз, каталепсию, галлюцинацию и манию резоверства" (см. Герье: „Ипполит Тэн". Вестник Европы, 1890, I, стр. 25). В этом смысле для Тэна история является в известной мере *прикладной психологией*.

Заслуживает внимание факт, подтверждающий лишний раз общую у многих историков с поэтами тенденцию к перевоплощаемости в изучаемый ими духовный мир: многие историки или начинали, *или кончали свое литературное поприще писанием романов или пьес*. Я уже указывал в статье „О перевоплощаемости в художественном творчестве", что нередко поэты в детстве обнаруживают любовь к кукольному театру. И вот мы тоже встречаем у Эрнста Курциуса, который всю жизнь впоследствии увлекался и музыкой (Глюк, Гендель, Бетховен), живописью (Рафаэль) и поэзией (Гете), и сам писал стихи. В том самом письме к брату Теодору (7 января 1830 г.), в котором он открывает в себе будущее *призвание историка* (ему 15 лет), он сообщает, что, будучи voll theatralischer Begierde, он с кузиной устроил марионеточное представление пьесы Коцебу: „Бабушка". А дальше следуют такие строки: „Что скажешь ты о моем плане всецело отдаться древней литературе и ее уразумению? Каким источником чистейших, восхитительных, божественных радостей жизни является классическая литература, так отрадно и поучительно для меня острое проникновение в величественную древность и постижение подлинно прекрасного в ее благороднейших памятниках" (см. Ernst Curtius. „Ein Lebensbild in Briefen herausgegeben von Friedrich Curtius, 1903, § 2). Сорель, писавший в юности стихи, уже лет тридцати издал два романа (см. Н. И. Кареев: „Альберт Сорель, как историк французской революции", 1907 г. стр. 4). Костомаров написал ряд исторических романов. Бестужев-Рюмин подошел к изучению истории через увлечение искусством, и первые его печатные труды относятся к области литературно-художественной критики.

XXXIX.

Вот еще несколько указаний на глубокие различия между поэтом историком и ученым-историком. Поэт может создавать только типические (родовые или индивидуальные) образы и об'единять их в

целостную совокупность картин и процессов, но он не может раскрывать в этой совокупности истинные *исторические причины* событий, которые могут быть выражены лишь в *отвлеченных понятиях*, *не* в *интуитивных*, а рассудочных формах, Во всяком историческом событии имеются моменты *психологической* или *эстетической значительности* и моменты собственно *исторической действености*. Поэт *не может представить ad oculos эти последние*. Можно раскрыть личную трагедию Бориса в драме или в опере, но нельзя раскрыть *исторических причин* смуты. Можно эстетически использовать couleur locale данного времени озарить светом эстетического созерцания disjecta membra источников, хроник, летописей, старых рисунков, преданий и т. д., блеснуть знанием вещественного быта, как Эберс, языка, как Мей, и т. д., но все же художественная интуиция и прагматическое об'яснение событий историком—вещи *глубоко различные*. Отсюда, естественно, вытекают еще два следствия: 1) Поэт всего лучше, вообще говоря, может перевоплощаться в *современность*, а иногда даже предугадывать нарождающиеся в жизни явления, ибо он только чутьем схватывает их типичность и на этом останавливается. Их исторический генезис скрыт от его сознания. Наоборот, историк может анализировать и причинно об'яснять только прошлое, ограничиваясь в отношении к настоящему лишь собиранием материалов. Дидро ошибочно утверждал, будто историю надо изучить *задом наперед*, он думал, что таким путем мы будем, как в математике, идти от известного к неизвестному, забывая, что в настоящем *законосообразная зависимость* явлений есть самое темное и неизвестное. 2) Всякое историческое произведение художника есть *известное пространственно-временное единство*. Таков цикл хроник Шекспира, трилогия А. Толстого, „Борис, „Хованщина" и лишь задуманная „Пугачевщина" Мусоргского. Труд же историка вовсе не предполагает непременно такого пространственно-временного единства, ибо конечная цель его работы вневременная и внепространственная, социологическая или психологическая схема *процессов и типов* в человеческой жизни. Пользуясь *сравнительным методом*, историк может сопоставлять феодализм на Руси и на Западе, законы Хамураби, законы XII таблиц и Русскую Правду. Подобное сопоставление невозможно для художника, и еслибы даже известная психологическая тема была намеренно использована художником в двух диспаратных исторических областях, то она была бы простым сопоставлением двух интуиций, а не этапом в процессе обобщающей мысли.

XL.

Насколько тонкая и деликатная вещь чувство „об'ективной возможности" у историка, видно из тех *experimenta crucis*, какие представляют искусные *подделки и мистификации*. История короны Сайтаферна, воскового бюста, который был принят Боде за произведение Леонардо да Винчи, Краледворской рукописи и поэм Оссиана весьма поучительны. Гиро рассказывает про Фюстель-де-Куланжа следующее: „Однажды кто-то из нас отважился ему поднести фразу из Тита Ливия, которая подрывала одну из самых дорогих для него теорий. Фюстель внимательно прочел ее, рассмотрел ее во всех подробностях и чистосердечно признался, что он ее проглядел. Однако, прежде чем сдаться, он попросил точно указать ему ее происхождение, чтобы проверить, „не изменит ли контекст смысл текста". Но фраза целиком была сочинена тут же в школе" (Гиро, Ib. 77). Историю эту удалось как-то замять. Если мы вспомним, как ловко Проспер Мериме сфабриковал песни западных славян; как „Chansons de Bilitis" были восторженно встречены некоторыми французскими археологами, как перевод подлинной находки из древнего саркофага, то мы должны согласиться, что перевоплощаемость поэта может иногда сыграть злую шутку над проницательностью ученого историка или весьма опытного литератора. А история с псевдо-вариантом Пушкинской „Русалки" прямо напоминает известную историю археологической находки, описанную в „Пиквикском клубе" Диккенса.

Какие трудности иногда представляет анализ историко-литературной подделки, можно видеть на поэмах Оссиана Макферсона и „Краледворской рукописи". В 1760 г. появились поэмы Оссиана, изданные Макферсоном, увлекли тогдашних читателей и были переведены на все европейские языки, ими увлекались Клопшток, Гердер, Гете и даже Суворов и Наполеон. В 1778 г. Джонсон начал поход против Макферсона, уличая его в мистификации, и тем положил начало вековому спору о подлинности поэм Оссиана. Разрешен ли этот спор в настоящее время? С исчерпывающей полнотой не разрешен и неразрешим, ибо для этого нужно было бы иметь подробные данные,—надо было бы „сравнить язык Макферсоновской рукописи с современным ему гоэльским языком и таким образом выяснить его время", а для этого не сохранилось письменных данных. Современный историко-литературный анализ может лишь разложить Макферсоновскую подделку на три составные части: 1) на подлинные гоэльские древние

песни, почерпнутые из какого-нибудь письменного памятника; 2) другие песни носят следы *свода*, но сделанного *не* Макферсоном, но кем-нибудь, кто ближе стоял к народу; 3) наконец, песни, *содержание которых не противоречит* преданиям, но они в *высшей степени искусственны*, изобилуют деланными вычурными описаниями, Гомеровскими эпитетами,—здесь только *схема* народна, все же остальное сочинено (см. „Поэмы Оссиана" Макферсона. Исследование, перевод и примечания Е. В. Балобановой).

Для уяснения природы исторического фантасма интересны не те случаи плохой подделки под исторические документы и художественные произведения (индивидуальные или народные), которые объясняются грубыми мотивами эксплуатации несведущих и наивных лиц. Равным образом для нас сейчас не имеют значения приемы определения подлинности документа путем анализа материала, из которого он сделан,—микроскопический или химический анализ. Нам интересны те случаи, когда критерий для раскрытия обмана лежит в области *психологии*. Так, например, Безсонов изобличает подделки и переделки Сахарова при издании русских народных песен, указывая на ложное понимание им *духа* этих песен, на введение слащавой сентиментальности, которой чужда эта песня. Процесс различения подделки от подлинного произведения в пределах психологии, мне думается, может имет *три ступени возрастающей точности*: 1) *дилетант*, мало изучивший данный род произведений, ограничивается ссылкой на *чутье*, на *интуицию*, на смутное непосредственное и неосознанное *чувство*. Такая ссылка неубедительна для других, и весьма часто дилетант попадает впросак. Приведу один пример из истории русской музыки. М. Иванов когда-то писал, что 3-я песня Леля в „Снегурочке" Римского-Корсакова *целиком народная*, по поводу чего Римский-Корсаков в письме в газете просил его указать народный источник. 2) *Узкий специалист*, археолог в данной местности, нумизмат и т. п. руководятся смутным чувством сходства или различия известных художественных или литературных форм, основываясь на наблюдательности односторонней и потому поверхностной. 3) *Широко образованный знаток многих областей* зараз обладает ясно-осознанным критерием для различия подлинного от ложного, ибо руководится при оценке произведения *тонко градуированными оттенками сходств и различий и привлекает к делу диспаратные ряды* мыслей и образов (данные языка, художественного стиля, мифологии, этнографии и т. п.). Таков, повидимому, Фуртвенглер, о котором проф. Фармаковский пишет: „Особенную славу знатока в разоблачении подделок приобретает Фуртвенглер с опубликованием им работы о под-

дельности наделавшей в свое время столько шума золотой тиары Сайтаферна, приобретенной Лувром" (см. Некролог Фуртвенглера проф. Фармаковского, „Гермес", 1908). В замечательном исследовании: „Neuere Fälschungen von Antiken" von Adolf Furtwaengler, 1899, читатель найдет блестящие психологические замечания о любителе старины, ищущем на художественном рынке „aesthetisch befriedigende Prachtstücken", и *характеристику идеологии фальсификатора*. Большинство подобных подделок сводятся к искусственной *механической комбинаторике античных черт в произведении*, якобы относящемся к известному месту, времени и стилю, причем опытный глаз ученого изобличает несообразности и ошибки в этих комбинациях, проистекающие от недостаточного знания дела. Изредка встречаются случаи *органического воссоздания* античного произведени, свидетельствующие не только о глубоких знаниях фальсификатора, но и о его значительном художественном даровании. В последние годы XIX века, по словам Фуртвенглера, появились среди подделок под терракотовые изделия в Малой Азии такие замечательные в художественном отношении произведения, что их нужно признать чем-то совершенно исключительным. Они навсегда останутся феноменальным явлением в истории подделок. Они запечатлены совершенно своеобразным и вполне выдержанным стилем, и их главный автор проявил много самостоятельной изобретательности. Правда, неоднократно, именно в отдельных фигурах, он подражал античным образцам — танагрскому искусству, — ибо многие отдельные статуэтки суть произведения подделывателя групп, и эти статуэтки появились одновременно с группами,—но всеже он нередко предоставлял простор своей собственной фантазии в позднейших созданиях и непредусмотрительно „отпускал поводья". Таким образом, в данном случае самое художественное дарование, размах творческой фантазии *современного* художника оказывался к невыгоде впечатления в смысле *иллюзии подлинности*, разумеется, лишь в глазах исключительно проницательного историка искусства, каким был Фуртвенглер. Не может быть сомнения в том, что с дальнейшим прогрессом исторических знаний в области искусства и литературы подделка будет становиться все более и более трудной.

В новейшей истории философии представляют психологический интерес два случая подделки. Гартманн, после выпуска в свет „Философии Безсознательного", опубликовал под чужим именем книгу, опровергающую все его биологические воззрения, а затем, после того, *как Геккель расхвалил это сочинение, как здоровое противоядие против ложного учения* Гартманна, последний снял с себя маску

псевдонима и опроверг свою критику антикритикой в длинном ряде тезисов. Английский прагматист Шиллер в книге „Гуманизм“ приводит перевод якобы отрывка из вновь открытого греческого диалога, писанного Протагором, и даже указывает на якобы открытый недавно источник, но делает всю эту мистификацию единственно для того, чтобы вложить в уста Протагора идеи современного прагматизма. Когда два философа, сходящиеся в некоторых пунктах своей философии, пишут какую-нибудь статью сообща, то *разграничить их авторство* является почти совершенно невозможным. Когда-то Гегель и Шеллинг издавали вместе „Kritischer Journal“ и писали в нем сообща статьи (1802—1803), например: „Ueber die Verhältniss der Naturphilosophie zur Philosophie“. По смерти Гегеля эта статья попала в собрание его сочинений, тогда Шеллинг заявил, что он автор статьи. Гегельянцы стали оспаривать это утверждение (напр., Михелет), всего вероятнее, что статья писана обоими, но выделить, что специально принадлежит одному и что другому,—невозможно.

XLI.

Именно то, что вменяют в недостаток художникам-историкам, — наличность живописных подробностей—делает поэтическое произведение в этом самом отношении ценным источником для понимания той эпохи, когда оно сочинено. Герье поясняет эту мысль Тэна анализом одной его статьи об одной эпической поэме, относящейся к циклу Карла Великого (Гено де-Монтобан): летописи того времени чрезвычайно сухи и скупы на характерные для этой эпохи психологические подробности, но „старинный трувэр — говорит Тэн,—принужденный своей задачей входить в подробности и сообщать разговор людей, описывает то, что предшествовало событию, изображает перемены в душевном настроении, одним словом, все, что *исчезло от внимания летописца*, и часто двух-трех таких черт достаточно, чтобы изобразить всю культуру эпохи. Вот, например, сцена прибытия послов Карла Великого к его неверному вассалу Бовину. Послы передают герцогу требование императора явиться к его двору под страхом смертной казни. Бовин при этих словах вскакивает, кричит своей дружине: „Схватите этих послов и отрубите им головы“, бросается сам на них и разрубает одному голову до самой челюсти. Таков факт, переданный трувером с большой обстоятельностью, но почти с деловитой сухостью летописца. Тэн угадал взрыв дикой страсти, обуявший Бовина. Суровый воин, оскорбленный угрозой, сделанной ему в его собствен-

ном замке перед его вассалами, чувствует, как у него наливаются жилы, закипает кровь, напрягаются мышцы, и он бросается на посла, как раз'яренный бык". В этой сцене и других подобных Тэн усматривает типичное проявление психического состояния грубых невоздержных людей феодальной эпохи.

XLII.

В процессе построения исторического фантасма могут быть *четыре* односторонних тенденции; которые имеют своим следствием некоторые недостатки в характеристике исторических личностей (или событий).

I. Чрезмерное *упрощение* или *схематизация*. Такой недостаток встречается у историков-интеллектуалистов, которые стремятся в целях обобщения не только схватить характерные черты личности но *свести эти черты к одной основной*—дать как бы краткую и четкую *формулу* лица, ее вагнеровский лейтмотив. Такую точку зрения мы встречаем у Тэна. Мне возразят, быть может, указанием на то, что Тэн по своим философским воззрениям эмпирист, его гносеология исходит из сенсуализма Кондильяка. Однако, это обстоятельство нисколько не препятствует Тэну проявлять рационалистические тенденции в приемах мышления. Увлечение Спинозою и Гегелем не прошло для него бесследно. Правда, он далек от мысли *математизировать* историю. Он отмечает *качественный* характер исторических и психологических законов, невозможность точно измерить и соизмерить гетерогенные явления, и видит идеал историка в идеале описательного естествознания,—он хочет свести исторические явления к *основным типам и процессам*, дать их естественную классификацию, но в этих пределах стремление к *упрощению* исторического и психологического многообразия у него бросается в глаза. Рассматривая генезис личности, как равнодействующую совокупного влияния *расы, среды и момента*, он в то же время стремится свести ее внутреннее многообразие к одной *господствующей способности*, и именно в этом упрощении сказывается его интеллектуализм. Недаром мистически настроенный Амиель, не понимая положительных сторон теории Тэна, его огромного таланта и плодотворности его идей, пришел в ужас от его исторического метода: „Воображаю, чем будет,—пишет он,—литература будущего à l'americaine, резко контрастирующая с греческим искусством: алгебра вместо жизни, формула вместо образа, испарения реторты вместо Аполлинического опьянения, холодный взгляд вместо радостей мысли, короче, смерть поэзии, изуродован-

ной и анатомизированной наукой". (Monod, op. cit. p. 161). Этот вопль мистической души характерен лишь по своему контрасту с интеллектуализмом Тэна, на который он сам указывает, говоря: „Форма моего духа французская и латинская—классифицировать идеи правильными рядами прогрессивно (avec progression), по правилу идеологов, короче, согласно ораторскому искусству. Я очень хорошо помню, как однажды (мне было 10—11 лет) я с увлечением читал не помню уже чье рассуждение о „Потерянном Рае" Мильтона. Это была критика XVIII века, демонстрировавшая и опровергавшая, исходя из принципов. Чтение истории цивилизации Гизо, курсы Жуффруа доставили мне первое великое чувство литературного наслаждения, благодаря прогрессивной классификации. Во мне имеется стремление постигнуть *сущность*, как говорят немцы, не сразу одним скачком, но длинным непрерывным путем, заменить интуицию (insight), внезапную абстракцию (Vernunft,) ораторским анализом, но этот путь пролагается с трудом" (Monod, Ib, 39). Тэн очень любил музыку Бетховена и однажды, прослушав любимую сонату, воскликнул: „C'est beau, comme un syllogisme!". И, воздавая должное заслугам Тэна, нужно согласиться с Моно, что он *слишком упростил проблему.*

Проф. Н. И. Кареев в своей прекрасной статье о Сореле указывает на параллель, делаемую Бутми между *техникою построения исторического фантасма* у Тэна и Сореля. У более прямолинейного Тэна он находит «les facons cons absolues d'un philosophe», у Сореля «la mesure et le temperament d'un historien", и если Тен в своих портретах схватывает „faculté maitresse", то у Сореля замечается „un travail infiniment plus nuancé".

II. Чрезмерная мелочная *детализация*, которая лишает возможности историка при построении исторического фантасма отделить *существенные* признаки от *несущественных*, разумеется, *существенные* в пределах обобщений, доступных историку *при данном уровне научных знаний.* Историк фактопоклонник, эрудит перегружает изображаемое лицо или событие такими частностями, что не может даже приблизиться к родовому образу в своем бессильном стремлении, *погружаясь в индивидуальное*, нарисовать нам эту индивидуальность в сколько-нибудь рельефных очертаниях. Между тем, искусство *оживлять угасшие чувства* предполагает непременно способность обобщения и уменье разобраться в самых запутанных мелочах исторического материала. Для этого нужен счастливый *синтез* способность ориентироваться в конкретных мелочах и схватывать общие черты. „Одни люди,—говорит Кант,—абстрагируют слишком много, другие, эмпирики—слишком мало".

Но, как мы видели, и этого историку недостаточно, он должен обладать даром перевоплощаемости—идти зараз путем *рассудочной комбинаторики* деталей к общему и путем *целостного* „интуитивного" постижения исторических личностей к деталям их духовного склада. Именно такой синтез мы наблюдаем в духовной лаборатории Сореля.

1) Задумав осветить в яркой и связной картине соотношение между французской революцией и крупнейшими историческими событиями Европы, прагматически с нею связанными, и углубившись в детальнейшее изучение *синхронистических* явлений во Франции и в Европе, Сорель помогает своему творческому воображению *синоптическими таблицами.* Очевидно, Сорель помнил совет Декарта прибегать к периодическому синопсису сложного многообразия изучаемых явлений в 3-м, 4-м или 8-м томах своей книги: „L'Europe et la revolution francaise", посвященных рассмотрению событий от конца конвента до эпохи директории включительно. „Автор,—пишет проф. Кареев,—очень искусно размещает в них отделы, посвященные внешней и внутренней истории Франции за десять лет совершившейся в ней революции: очевидно, ему, действительно, *принес большую помощь уже отмеченный выше его прием первоначально размещать свой фактический материал по графам,*—прием, дававший ему возможность безошибочно каждый раз судить, какое событие произошло во внутренней и во внешней политике, и как могло оно отразиться на других событиях, опять таки безразлично, совершилось ли оно в самой Франции или вне ее, в политических ли собраниях или в дипломатических канцеляриях и на полях сражений" („Сорель", 1907, стр. 26—27).

2) Но в то же время Сорель стремится постигнуть и целостные личности того времени путем перевоплощаемости. Социальное взаимодействие духовных личностей нельзя конструировать по частям механически: „Проблема их общего действия,=говорит Сорель,—отнюдь не проблема механики. Это соединение существ, это проблема человеческой симпатии или отвращения. Это понятие роли толпы стремится проникнуть в историю с расширением демократии, вооружением народов, сосредоточением промышленных рабочих, является сюда не под давлением, как можно было бы подумать, естественных наук, оно отнюдь не корроларий в деле изучения обществ роли бесконечно малых величин в человеческом теле, жизненных соперничеств, всеобщего действия и революций в мире микробов, существование которого с управляющими им законами было открыто Пастером, *это чисто интуитивный взгляд,* и история его заимствовала из литературы,

из Шекспировского „Юлия Цезаря“, из Толстовской „Войны и мира“. „Вот эту-то человеческую стихию,—говорит он дальше,—личную и особенную в каждом человеке, и требуется выделить в актах и рассказах тех, которые вели дела, подготовляли события и докладывали об их обстоятельствах. История живет документами, но документы очень похожи на письма, написанные химическими чернилами. Они выдают свою тайну только тогда, когда их нагревают и заставляют просвечиваться у пламени жизни“ (Кареев, стр. 45—46).

Относительно процесса *чрезмерного осложнения* можно сказать, что при описании индивидуума нет такой черты, которая могла бы быть отброшена, как заведомо непригодная для оценки исторического удельного веса данного лица: всегда может оказаться при дальнейшей углубленной разработке истории, что кажущаяся случайной и несущественной под известным углом зрения черта, в сочетании с другими данными может оказаться исторически показательной, и Виндельбанд ошибочно думает обратное. Но с другой стороны, несомненно, что при описании исторической личности, *при данном состоянии исторической науки* ученый должен сосредоточить внимание не на всех деталях данного события в равной степени. Пуэнкарэ прекрасно поясняет в применении к астрономии *губительное* значение *детализации, не соответствующей* уровню знания: „Если бы Тихо-де-Браге имел в десять раз более точные инструменты, мы бы никогда не имели Кеплера, Ньютона и астрономии“. Однако, лишь вооруженный обширными знаниями общего и специального характера историк может решить, *имеет ли историческую значимость известная биографическая деталь*. Осложнение исторического образа может идти или в сторону без'идейной мелочности вообще, или в сторону психологической, психиатрической, эстетической или моральной детализации черт данного лица. Сочинения вроде: „Душевное состояние Иоанна Грозного“ Павла Ковалевского, каково бы ни было их психиатрическое значение, не представляют для историка никакого интереса, ибо *этиология* душевной болезни исторической личности не проливает никакого света на *исторически* действенные стороны в его поведении.

III. Нужно еще указать на *преувеличение* и *преуменьшение* известных черт в историческом фантасме или в сторону *карикатуры*, или в сторону *идеализации*.

„Лучшие портреты,—пишет Маколей,—едва ли не те, в которых есть легкая примесь карикатуры, и мы не уверены, что лучшие портреты не те, в которых с толком употреблена доля прикрас вымышленного повествования. Кое-что теряется в точности, за то много

выигрывается в эффекте. Мелкие штрихи забываются, но великие характеристические черты запечатлеваются в уме навсегда." (Е. В. Барро, „Маколей", 1894, стр. 70).

Большой об'ективизм историка, сознательное стремление быть беспристрастным все же не исключает легкого оттенка иронии в характеристиках. В этом сказывается известный момент суб'ективной *оценки* лиц и событий. Проф. С. Ф. Платонов пишет о Ключевском: „В прошлое наш историк смотрит, если далеко не равнодушно, то сдержанно, не показывая „ни жалости, ни гнева". Суд историка у Ключевского действует чаще всего посредством мимолетного сарказма или же благодушного, но меткого юмора („Памяти В. О. Ключевского". См. Сборник: „В. О. Ключевский". „Воспоминания и характеристики", 1912, стр. 98).

IV Как уже замечено выше, Фюстель де-Куланж предостерегает историков от *модернизации* прошлого, что не мешает им разделять эту черту с поэтами, хотя для *ученого подобный грех непростителен.* А между тем вспоминаются Моммзен и Юлий Цезарь, Грот и Перикл. „Моммзен,—пишет профессор Хвостов,—вырос и сложился в бурное время 40-х годов. Живой интерес к современности у него, при живости темперамента, невольно переносится и на далекие времена римской республики. Анализируя факты прошлого, он сравнивал их с настоящим и переносил далеко назад свои современные симпатии и антипатии. Всем известно его сочувствие Цезарю и несочувствие Помпею, Цицерону, Катону. В Цезаре Моммзен видел такую же сильную власть, какая, по его мнению, нужна была и для об'единения Германии" (Научное Слово, Ib., стр. 99). Иногда историки, зная за собой грех модернизации, вносят в качестве корректива умышленную *архаизацию* идеологии людей далекого прошлого. Такую черту отмечает у Фюстеля Гиро. В истории философии яркими примерами этих противоположных тенденций модернизации и архаизации могут служить Гомперц и Таннери. Первый наделяет Гераклита чертами немецкого романтика-пессимиста, второй утверждает, что „бесконечное" Анаксимандра было бесконечным лишь во времени, но ограниченным в пространстве, ибо-де невероятно допустить, чтобы Анаксимандр мог уже додуматься до идеи бесконечного пространства. У Каринского в его работе „Бесконечное Анаксимандра" можно найти опровержение этого ложного домысла; он показывает, что идея бесконечности пространства не чужда уже Гесиоду.

В истории философии модернизация исторического фантасма приобретает в различных *философских школах* различную суб'ективную интерпретацию. В этом отношении весьма любопытна судьба

Протагорова учения—„человек есть мера всех вещей“. Если „человек“ понимать здесь в смысле *индивидуальном*, то учение Протагора принимает оттенок крайнего скептического релятивизма. Если толковать термин „человек“ в смысле *социологическом* (средний, „нормальный“ человек—homme moyen), то такой взгляд приближается к позитивистическому пониманию знания, как результата *родового опыта* (Мах, Лаас). И что же мы видим в истории философии? Древние скептики, видя в учении Протагора источники своих воззрений, подчеркивают индивидуалистический субъективизм, и то же делают и платоновцы по следам Платона, дабы подчеркнуть бесплодность сенсуализма. Наоборот, позитивисты, видя опять же в Протагоре родоначальника их идей, толкуют термин „человек“ в смысле „средний“ человек и даже в смысле impartial and benevolent spectator английских моралистов. Вот почему Секст Эмпирик, а также Платон, Аристотель, Герберц и Наторп толкуют *„Homo-mensura Satz“* в смысле индивидуалистическом, а Гальбфлейш, Грот, Лаас и Т. Гомперц—в смысле коллективистическом.

XLIII.

Исторический фантасм представляет подготовительную ступень к образованию исторических понятий, и историки, по способу образования последних, могут быть разделены на три группы:

1) Представители *индивидуалистического номинализма*. Для них допустимо образование главным образом индивидуальных понятий в истории, да и таковые они готовы отожествлять с единичным представлением. Это умы, не желающие возвышаться над сферою конкретнейших описаний. Их логический идеал всего лучше может быть выражен словами Геринга и Кирхманна: „Идеал всякого знания состоял бы в том, чтобы, без применения общих понятий, всякое явление познавать in concreto“. Göring: „System der krit. Philosophie“, 301). „Если бы боги говорили, то всегда говорили бы собственными именами“. Мне вспоминается по этому поводу рассказ Герцена о том, как в эпоху конвента один француз, проработавший много лет над буквальной репродукцией из воска целого квартала Парижа, преподнес свой труд в дар конвенту, а последний, вместо благодарности, посадил его за бесполезную трату времени в такую великую эпоху на несколько месяцев в тюрьму.

2) Представители видового или *специфического реализма*. Сюда относятся историки, гипостасирующие народ, класс или государство в особую сверхиндивидуальную реальность. Сюда относится логиче-

ский реализм некоторых последователей Маркса, учение об об'ективном духе немецких „народных психологов“, а также учение Данилевского о *культурно-исторических типах*. Для таких историков человечество пустая абстракция, но народ, государство или класс—своего рода ens realissimum. К ним применимо то, что Вл. Соловьев пишет о Данилевском: „Человечество, по мнению Данилевского, есть род, т. е. отвлеченное понятие, существующее только в обобщающей мысли, тогда как культурно-исторический тип, племя, нация—суть понятия *видовые*, соответствующие определенной реальности. Но логика не допускает подобного противоположения, „Род и вид суть понятия относительные“ (см. статью „Н. Я. Данилевский“, „Словарь Брокгауза и Ефрона“, новое издание).

3) Наконец, имеются еще представители *родового или генерического реализма*. Для них различие видов несущественно, а ценными и истинно реальными они считают или человечество, или среднего человека. Такова идеология основателя социологии Конта и социальной физики—Кетеле. Для Конта, автора „Системы позитивной политики“, человечество—Grand Etre. В „Курсе позитивной философии“ он мечтает создать „histoire sans noms d'hommes ou même sans noms des peuples“. Дарвин и Спенсер разделяют его антипатию к видовым различиям. У Дарвина однажды вырвалось характерное восклицание: „Как я ненавижу виды и разновидности!“. А Спенсер так свысока относится к конкретным деталям исторических явлений, что в книге: „Воспитание физическое, умственное и нравственное“ утверждает, что смена одной династии другой—факт столь же мало поучительный, как и запись о том, что на соседней крыше вчера кошка окотилась. Кетеле же в своем homme moyen видит своего рода Платоновскую идею—идеал для подражания.

Глава VI.

Творческая мысль.

XLIV.

В обывательском сознании издавна существует два представления о деятельности ученого. С одной стороны, обычная научная работа есть рассудочный, непрерывный, методический процесс акку-

муляции знаний. Таково описание архива, составление ботанической или зоологической коллекции, применение известных способов решения определенной задачи к такому-то частному случаю. С другой стороны, гениальный ученый открывает что-нибудь весьма значительное внезапным, прерывным путем. Яблоко падает на нос Ньютону, крышка чайника подпрыгивает перед взором Уатта, и вдруг совершено великое открытие. Ученый — это какой-то маг и волшебник, Пацюк, которому галушки сами прыгают в рот. Такой разрыв моментов прерывности и непрерывности творческой мысли изобретателя делает тайну его открытий совершенно непостижимой. На самом деле, оба указанные момента непрестанно предполагают друг друга. Простой регистратор фактов или положений и чудесный творец новых научных истин—это две несуществующие в природе фикции. Внезапные догадки, ведь, могут быть, во-первых, бесконечно различны по своей значительности, и, во-вторых, таким образом, привходить в каждый шаг научной работы. Работа, кажущаяся совершенно механической (собирание фактов), не исключает в любой момент ее выполнения тех или других усовершенствований техники работы, которая предполагает догадливость работника, и самые ошеломляющие своею неожиданностью сопоставления являются лишь увенчанием здания, поворотной точкой в многолетнем упорном непрерывном процессе работы. Когда Кант поставил вопрос: как возможны синтетические суждения a priori? он в сущности поставил вопрос: *как возможны изобретения в математике, „чистом естествознании" и в философии*? Для полноты проблемы изобретения нужно лишь прибавить другой вопрос, который Канту не было надобности разбирать: как возможны синтетические апостериорные, т. е. опытные, суждения. Иными словами, можно сказать: всякое научное изобретение есть вывод с одной или двумя синтетическими посылками и, следовательно, с синтетическим заключением. Большая посылка выражает момент непрерывного накопления. Это то ранее приобретенное знание, которое находится в распоряжении памяти и рассудка ученого. Меньшая посылка выражает момент изобретательности, проницательности или, как выражается Кант, способности суждения. Заключение есть синтетический вывод разума из двух процессов—непрерывного накопления знания рассудком и прерывного—догадки, силы суждения.

Verstand—M—P.

Urtheilskraft—S—M.

Vernunft—S—P.

Эта схема принадлежит Канту *). Но еще у Аристотеля есть замечание о *проницательности* (ἀγχίνοια), которую он как раз усматривает в умении подыскать подходящий средний термин, т. е. в удачном подведении меньшей посылки под большую. Проницательность есть способность сделать удачную ad hoc догадку относительно среднего термина. Например, когда кто-нибудь, заметив, что луна своею светлою стороною всегда обращена к солнцу, сразу поймет, что это в действительности происходит от того, что она освещена солнцем, или когда кто-нибудь догадается, что человек разговаривает с богачем в разсчете занять у него денег, или что известные лица—друзья только потому, что у них есть общий враг.

Вот текст Аристотеля: Analyt. post., lib. I, cap. XXXIV.

Ἡ δ' ἀγχίνοιά ἐστι εὐστοιχία τις ἐν τῷ ἀσκέπτῳ χρόνῳ τοῦ μέσου. 2. Οἷον, εἴ τις ἰδών, ὅτι ἡ σελήνη τὸ λαμπρὸν ἀεὶ ἔχει προς τὸν ἥλιον, ταχυ ἐνενόησε διὰ τί τοῦτο ὅτι διὰ τὸ λάμπειν ἀπὸ τοῦ ἡλίου. ἢ διαλεγομενον τοῦ πλησίου, ἔγνω, διότι δανείζεται. ἢ διοτι φίλοι ὅτι ἐχθροι τυῦ αὐτδυ. Πάντα γὰρ τὰ αἴτια τὰ μέσα ὁ ἰδων τὰ ἄκρα ἐγνώρισε. 3. Το λαμπρὸν εἶναι προς τὸν ἥλιον, ἐφ' οὗ Α. τὸ λάμπειν ἀπὸ τοῦ ἡλίου, Β, σελήνη, τὸ Γ. Ὑπάρχει δη τῇ μεν σελήνῃ, τῷ Γ, τὸ Β, τὸ λάμπειν ἀπὸ τοῦ ἡλίου τῷ δε Β το Α, τὸ πρὸς τοὸτ' εἶναι τὸ λαμπρὸν ἀφ' οὗ λάμπει ὡστε καὶ τῷ Γ τὸ Α διὰ τοῦ Β.

Любопытно, что Аристотель приводит по одному примеру на проницательность *натуралиста, психолога* и *политика*. Джэмс в своей психологии развивает подобный же взгляд на роль догадки в мышлении, но он почему-то *не упоминает ни словом ни об Аристотеле, ни о Канте.*

---

*) „*Рассудок*, располагающий запасом ранее приобретенных знаний, ставит проблему: *Чего я хочу? От чего это зависит?* спрашивает *способность суждения. Что из этого вытекает?* спрашивает *разум*. Люди очень различны в способности давать ответ на каждый из эгих вопросов. Первый требует только ясной головы, чтобы понять самого себя, и это природное дарование при некоторой культуре встречается часто—в особенности в том случае, если на это обращают внимание. Гораздо реже можно встретить легкий ответ на второй вопрос, ибо представляются разнообразные виды определения предлежащего понятия и мнимого разрешения задачи — где же тот *единственный* способ, который соответствует данному случаю?" («Антропология», § 57, р. пер. Соколова, стр. 96—97, изд. 1900 г.).

„Назовем факт, пишет Джэмс, или конкретную данную опыта $\underset{\smile}{S}$, существенный аттрибут — $\underset{\smile}{M}$, а свойство аттрибута $\underset{\smile}{P}$. Тогда искусство мышления можно охарактеризовать двумя чертами—1) *Проницательностью* или уменьем вскрыть в находящемся перед нами целом факте $\underset{\smile}{S}$ его существенный аттрибут $\underset{\smile}{M}$. 2) *Запасом знаний* или уменьем быстро поставить $\underset{\smile}{M}$ в связь с заключающимися в нем, связанными с ним и вытекающими из него данными" (Джэмс: „Психология", 1-е изд. стр. 288. Мой перевод):

$\underset{\smile}{M}$—$\underset{\smile}{P}$ большая посылка—*запас знаний.*
$\underset{\smile}{S}$—$\underset{\smile}{M}$ меньшая посылка—*проницательность.*
$\underset{\smile}{S}$—$\underset{\smile}{P}$

Среди представителей эмпиризма (Бэкон, Беркли, Милль, Спенсер, Бенеке, Мах) распространен взгляд, будто силлогизм *не расширяет* нашего знания и потому не может быть источником изобретения, взгляд ложный, он основан: 1) на смешении силлогизма, как *словесной формулировки* вывода, с творческим *актом мысли,* 2) на неясном понимании природы *синтетических,* расширяющих наше знание, суждений. „Силлогизм, пишет Мах, *только* делает ясным для сознания зависимость суждений" („Erkenntniss und Irrthum", 1905, S. 300). Легко сказать «*только!*» *). Ведь, от внезапного *сопоставления* двух суждений, если они оба или, по крайней мере, одно из них синтетично, и получается *новое* знание в выводе. Две посылки и заключение не механически сопоставлены в силлогизме, но выражают *лишь моменты единого целостного акта мысли.* Разумеется, вывод может быть и силлогизмом, и внесиллогистической операцией из области так называемой „логики отношений" (например: $a > b$, $b > c$, значит $a > c$), какой-нибудь математической операцией (например, заключение от $\underset{\smile}{n}$ случаев к $\underset{\smile}{n+1}$-му) и индукцией, о чем речь будет ниже. О синтетическом силлогизме и о природе синтетических суждений см. мои исследования: „Законы мышления и формы познания", 1906, и „Ло-

*) Ошибка Маха тем более удивительна, что он сам в интересной статье в журнале „Monist" за 1896 г.: „On the part played by accident in invention and discovery" указывает, что обе посылки, из которых получилось открытие Торичелли, были *порознь* известны Галилею, но ему *в голову не пришло* их сопоставить. Джоуль, сказал в Гейдельберге, что, будь теория Майера верна, вода от дрожания нагревалась бы. Майер не сказал ни слова, но через несколько недель заявляет: «*Es ischt aso!*»

гика отношений и силлогизм", 1917. Также капитальный труд проф. А. И. Введенского: „Логика, как часть теории познания", 1916.

Можно поставить вопрос, следует ли считать научным или философским изобретением установку нового *аналитического суждения?* Ведь, оно не *расширяет,* но лишь *проясняет* наше знание! Но *прояснение* знания предполагает уже минимальный синтез. Я уже имел случай показать, что все аналитические суждения *минимально синтетичны* (см. „Законы мышления и формы познания", стр. 176-я). В противном случае установка *аксиом и определений* не имела бы никакой познавательной ценности. *Острота мысли,* необходимая для создания точных и ясных определений, такой же великий творческий дар, как и комбинационная способность. Оба процесса: изобретения новых аналитических и синтетических суждений взаимно предполагают друг друга. Сам Кант, установивший противоположность аналитических и синтетических суждений, смягчает ее, как указывает Коппельман, (см. „Законы мышления и формы познания", 1906, стр. 176-я) Аналитическое суждение в *эксплицитной* форме резюмирует в определениях и аксиомах содержание нового понятия, добытое синтетическим путем. В противном случае теория определения Сократа не была бы великим философским изобретением, а аксиоматика Гильберта важным математическим нововведением.

В процессе образования синтетического силлогизма играет роль *переходного* момента *безконечное суждение.* В таблице суждений Канта наряду с *утвердительным* и *отрицательным* имеется еще, как сочетание двух первых,—*бесконечное;* А есть Не—В. Шопенгауэр усматривал в таком типе суждений лишь *фальшивое окно,* включенное в таблицу ради *симметрии.* Коген же усмотрел в этом типе суждений и соответствующей ему категории *ограничения* (наряду с категориями реальности и отрицания, или бытия и небытия) коренной принцип мышления. Я сказал бы, что бесконечное суждение выражает в процессе изобретения момент *разрыва* с *прежде установленною логическою связью* двух понятий, когда мы знаем, что искомое X не относится к тому классу, к которому его до сих пор относили, но к *другому,* который еще требуется найти—и вот он найден, и получается новый синтетический вывод S есть P. Таким образом, бесконечное суждение подчеркивает *непрерывность* процесса мышления и непрестанную корреляцию утверждения и отрицания. Коген справедливо указывает, что в истории философии отправным пунктом для великих фило-

софских открытий были *привативные* или ограничительные понятия: „Ἄπειρον", Без—предельное, Не-познаваемое: объект познания—мир рисуется в недифференцированном виде, *rudis indigestaque moles*, не—что, к уразумению коего присоединяются первоначально привативные предикаты. См. „Logik d. r. Erkenntniss".

С незапамятных времен знали, что человек при бронхите, воспалении легких или чахотке кашляет, и что пустая бочка при ударе иначе звучит, чем заполненная. Но лишь Ауэнбругер (1722—1801) в книге: «Inventum novum ex percussione thoracis humani interni pectoris morbos detegendi» (1761) высказал догадку, что и грудь человека, как полый твердый предмет, в различных болезнях при перкуссии издает различные звуки. Таким образом, положение: *полый предмет при ударе звучит иначе, чем заполненный*, явилось большею посылкою синтетического силлогизма изобретателя, меньшей же посылкой явилась *догадка*: а *ведь и грудь человека есть полый твердый предмет*, откуда получился вывод: следовательно, *грудь человека при выстукивании будет издавать разные звуки в случае заполнения или незаполнения*. Большая посылка заключает в себе момент *воспроизведения* ранее приобретенных знаний, момент *интеллектуального подражания*. Меньшая посылка заключает в себе *новый синтез*, неожиданное сближение столь непохожих на первый взгляд вещей, как пустая бочка и грудь человека. В этом синтезе есть и новое утвердительное суждение: грудь и бочка относятся к одному классу, А сходно с В, и предваряющее его бесконечное суждение—А есть не С, если под С разуметь сплошные твердые тела,—грудь есть не сплошное твердое тело. Поясню эту мысль еще на трех примерах из истории наук.

1) О *Ломоносове* проф. Меншуткин пишет: „Ломоносов указывает, что Роберт Бойль первый показал, что при обжигании металлов увеличивается вес гирь, и объяснял это увеличение веса соединением с металлами весомой части пламени материи огня". В 1673 г. Роберт Бойль делал опыты, которые заключались в следующем: „Бойль брал стеклянные реторты, клал в них свинец или олово, заплавлял герметически в огне горлышко реторты и взвешивал их. При нагревании такой реторты свинец переходит в окалину. Когда после 2-часового нагревания он открывал запаянный кончик реторты, воздух с шумом врывался в нее, — признак того, как указывает Бойль, что реторта была, действительно, герметически запаяна, и при вторичном взвешивании оказывалась прибыль веса. Отсюда Бойль заключал, что *материя огня проходит через стекло и соединяется с металлом*". „Эти-то опыты Ломоносов повторил

в 1756 г. и, как он пишет в ежегодных отчетах о своих занятиях, со следующим результатом: „Между разными химическими опытами, которых журнал на 13 листах, деланы опыты в заплавленных накрепко стеклянных сосудах, чтобы исследовать, прибывает ли вес металлов от чистого жара. *Оными опытами нашлось, что славного Роберта Боила мнение ложно*, ибо без пропускания внешняго воздуха вес сожженного металла остается в одной мере...“ Таким образом, опыты Ломоносова с полной определенностью показали, что образование окалины происходит именно от соединения металла с воздухом. При прокаливании результат этот чрезвычайно важен. Истинное объяснение явления горения, как соединения горящего или обжигаемого тела с кислородом воздуха, принадлежит Лавуазье, который, начав свои классические исследования именно с повторения опытов Бойля в 1773 г., через 17 лет после Ломоносова, получил совершенно такой же результат“. (См. Биографический очерк Б. Н. Меншуткина: „Михаил Васильевич Ломоносов“ („Русский Биографический Словарь“).

Из приведенного примера видно, что установке нового утвердительного суждения: *вес металла в окалине увеличился вследствие соединения с воздухом* — предшествует бесконечное суждение: *увеличение веса металла есть нечто не относящееся за счет материи огня*. Новый синтез устанавливается путем *разрушения предвзятой мысли*, помешавшей Бойлю обратить внимание на роль воздуха в процессе увеличения веса металла. Ломоносов по *методу различия* устраняет участие воздуха и доказывает, что „мнение славного Боила ложно“.

2) Дух изобретателя-творца есть, *прежде всего* Geist, der stets verneint, — дух отрицания. Аналогичное *отрицание* предвзятого положения мы видим в качестве исходного пункта в открытии *Пастера*. Его биограф (М. Энгельгардт) пишет: „Митчерлих изучил виноградную и винную кислоты и нашел следующее: эти кислоты одинаковы по химическому составу, по основным оптическим свойствам, по кристаллической форме. Стало быть, природа, число и распределение атомов в них одинаково. Но раствор винной кислоты вращает плоскость поляризации, а раствор виноградной — не вращает плоскости поляризации. Тоже утверждал и французский химик Превосто. Пастер *не поверил этому*, он исходил из того соображения, что растворы двух тел, химически одинаковых, различно относятся к свету. Это можно об'яснить только различной формой частиц, т. е. различной группировкой атомов, составляющих частицы. И он, действительно, обнаружил, что кристаллы винной кислоты обладали так наз. гэмиедрией.

Это не были вполне симметричные кристаллы с одинаковым числом симметрично расположенных граней. У них оказались лишние площадки с одного бока. Пастер уцепился за эту особенность. Нет ли связи между симметричностью кристаллов и вращением плоскости поляризации? Продолжая свои исследования, он убедился, что кристаллы виноградной кислоты, которая не вращает плоскости поляризации, не обладают гэмиедрией. Это вполне симметричные кристаллы. Связь между гэмиедрией кристаллов и оптическими свойствами растворов окончательно подтвердилась, когда Пастер окончательно разложил виноградную кислоту на две винных, совершенно тожественных по составу. Но одна из них вращает плоскость поляризации вправо, другая—влево, и кристаллы одной обладают гэмиедрическими площадками на правом боку, другой—на левом. Соединяясь, эти кислоты дают виноградную, раствор которой не отклоняет плоскости поляризации. Диссиметрия частиц исчезла, что отражается на форме кристаллов виноградной кислоты, вполне симметричных, без гэмиедрических площадок: открытие „правой" и „левой" кислот привело Пастера в сильнейшее волнение. Здесь, как и в открытии Ломоносова, исходным пунктом процесса был протест против предвзятой идеи Митчерлиха,—*неодинаковое отношение двух веществ к свету есть показатель неполной тожественности их химической структуры.*

3) В превосходной биографии *Лобачевского*, написанной проф. А. В. Васильевым, излагается генезис его великого открытия. Уже древние геометры (Посидоний, Прокл, а также арабские ученые, как Назир-Эддин) пытались доказать аксиому Эвклида, т. е. вывести ее, как логическое следствие из других аксиом. Одни искали решения проблемы в новом определении параллельных линий, другие выставляли вместо постулата другое положение, которое казалось очевидным, и из которого постулат выводился, как следствие... Но все продолжавшиеся два тысячелетия попытки оставались тщетными: на геометрии оставалось *пятно*. Работы Саккери и Ламберта еще более углубили постановку вопроса, но Гаусс был первым, усомнившимся в истинности постулата. В виду того, что учитель Лобачевского Бартельс был дружен с Гауссом, существовала гипотеза, что *скепсис* Лобачевского по отношению к постулату был навеян идеями Гаусса. Однако, после 1893 г., когда проф. А. В. Васильев высказывал это предположение, были найдены новые материалы, дающие основание думать, что Лобачевский додумался до своей идеи независимо от Гаусса; в связи с общим интересом математиков к этому вопросу в XVIII веке. Лобачевский мог знать работы Лежан-

дра и некоторых других ученых, писавших между 1813 и 1827 гг. Мнение же Гаусса было высказано печатно в 1816 г. В период 1815—1817 гг. Лобачевский еще пытается различными способами *обосновать теорию* параллельных линий. В 1823 г. он уже признает все существующие доказательства неудовлетворительными. Наконец, в 1826 г. 12 февраля им прочитана в заседании физико-математического факультета записка (не дошедшая до нас): „Exposition succinte des principes de la géometrie", где уже намечена система, противоречащая постулату Эвклида. В основе первого этапа лежит признание *постулата истинным* при известном обосновании; в основе второго *сомнение в его истинности* *), в основе третьего—*отрицание его истинности*. Таким образом, до нового способа мышления здесь была постепенная диссоциация привычных идей. Если обозначить через A перпендикуляр, а через B наклонную, через C же пересекаемость двух линий при достаточном продолжении, то искания предшественников, Лобачевского могут быть выражены в утвердительном суждении:

„A и B всегда обладают свойством C, а отправным пунктом исследований Лобачевского является бесконечное суждение:

„A и B могут относиться к линиям, не обладающим свойством C".

XLV.

Не только специально научные, но и *философские* открытия и изобретения могут быть выражены в форме синтетического силлогизма, равным образом, и сущность целого направления философской мысли (эмпиризм, рационализм) может быть выпукло охарактеризована в подобной оболочке. У Вл. Соловьева (в „Кризисе в западной философии") мы находим остроумную, хотя и слишком схематически упрощенную попытку подобного рода. Взаимное отношение ступеней в развитии эмпиризма может быть выражено в таком силлогизме:

Major *(Бэкона)*. Подлинно сущее познается в нашем действительном опыте,

Minor *(Локка)*—но в нашем действительном опыте познаются только различные эмпирические состояния сознания.

---

*) Из XIV тома академического издания сочинений Канта явствует, что и его не удовлетворяли попытки определить параллельныя линии. Соответствующие отрывки находятся в первом отделе. Рейке снабжает их историческим комментарием. Об этом интересном обстоятельстве не упоминают Бонола, Брюнсвик и другие историки философии математики.

Conclusio *(Милля)*—ergo, различные эмпирические состояния сознания суть подлинно сущее.

Три фазиса в развитии рационализма характеризуются Соловьевым следующим образом:

Maior *(догматизма)*—истинно сущее познается в априорном сознании,

Minor *(Канта)*—но в априорном сознании познаются только формы нашего мышления (?)

Conclusio *(Гегеля)*: ergo, формы нашего мышления суть истинно сущее.

В этих силлогизмах *верен замысел*—выразить в подобной форме философское изобретение. *Осуществление же замысла ложно,* ибо *творческий процесс* в истории философии осуществлялся в гораздо более сложной форме, что будет показано нами впоследствии.

В области *практической* философии мы встречаем подобный же силлогизм, который Аристотель назвал *силлогизмом действия.* Всякий поступок, имеющий только техническое или также моральное значение, короче, *всякий разумный волевой акт* может быть выражен в форме силлогизма, где большая посылка играет роль руководящей общей максимы поведения, меньшая—подведение данного случая под общую максиму, а заключение—самое решение действовать известным образом, например:

То, что сладко, полезно.
Мед сладок.
Мед полезен.

В подобном силлогизме, конечно, нет никакого изобретения, ибо *он ложен* по существу. И только Руссо, увлеченный мыслью, что природа не может нас вводить в заблуждение (что вкусно, то и полезно для здоровья), с'ел несколько волчьих ягод, найдя их вкусными и все же отнюдь не ядовитыми. Но неудачный пример Аристотеля здесь не изменяет сути дела. И мы можем говорить, что техническое или этическое изобретение может быть выражено в виде *синтетического силлогизма практического разума.* На подобный силлогизм указывает Кант, у которого в „аналитике практического чистого разума" мы встречаем силлогизм, где *большая* посылка выражает моральный принцип, *меньшая*—подведение под нее известных действий, как хороших, так и дурных, а в *заключении* мы переходим к известному субъективному решению воли. Таким образом, удачное нахождение меньшей посылки открывает путь к изобретению и в моральной фило-

софии. Так, например, изобретение *киренца Аристиппа* может быть формулировано следующим образом:

Истинное наслаждение должно быть в *настоящем*, иметь *телесный* характер и при том *положительный*—не быть простым отсутствием страдания.

Цель жизни должна быть устремлена к истинному наслаждению.

Следовательно, целью жизни должно служить наслаждение с указанными тремя свойствами.

А вот силлогизм *киников:*

Цель жизни—стремиться к уменьшению потребностей.

Но стремление к богатству, славе, роскоши и т. п. — не есть стремление к уменьшению потребностей.

Следовательно, упомянутые стремления не соответствуют цели жизни.

XLVI.

В силу *закона непрерывности*, в изобретении *подражание и новаторство всегда неразрывно связаны.* Очень замечательны золотые слова Канта в его „Размышлениях к Антропологии", § 778. Он говорит: „Немцы по таланту—подражатели. Это обозначение пользуется худшей репутацией, чем оно заслуживает. Подражание есть нечто совершенно отличное от обезьянства (Nachaffen). Подражание не так далеко отстоит от гения, как это принято думать. Нет никакого духовного прогресса, никакого изобретения без того, чтобы человек не подражал заранее известному в новом отношении. Так, Ньютон, подражавший падению яблока, и Кеплер, подражавший гармоническим отношениям, заслужили имя законодателей звездного неба. Подражание примерам также служит руководящей нитью для гениев, но только не тому, что в этих примерах есть буквального и личного, не их букве, но их духу. Первое есть обезьянство. Мильтон подражал великим поэтам, но не просто копируя оригинал, а как ученик, стремящийся превзойти учителя. Подражание есть скромный и надежный путь гения, который в избираемой дороге сообразуется с попытками, сделанными другими. Не было ни одного великого мастера, который не подражал бы, и не было ни одного изобретения, которое не могло бы рассматриваться, как некое соответствующее отношение к предшествующим открытиям. *Все подчинено закону непрерывности,* и то, что совершенно оторвано и обособлено от предшественников пропастью, принадлежит миру пустых призраков".

Кто обладает обширными знаниями и притом *ясными и отчетливыми понятиями*, в распоряжении того всегда имеются *ценные большие посылки*. Кто обнаруживает находчивость в выборе *подходящей меньшей посылки*, которая зависит от *комбинационной способности творческого воображения*,—тот обладает даром изобретательности. Но подлинно одаренным человеком будет тот, кто будет обладать и *логической остротой*, необходимой для установки *отчетливых понятий* (в связи с памятью, от которой зависит *запас* приобретенных знаний), и *комбинационным даром*. По словам Рихарда Бервальда, логическая острота и комбинационный дар — die beiden königlichen Begabungen des Menschen. Обе эти черты, действительно, свойственны всем великим изобретателям, в том числе и философам, хотя у одних может более преобладать один момент, а у других—другой. Например, у Канта, богато одаренного, по свидетельству Боровского, в обоих направлениях, могла преобладать *первая* черта, а у Лейбница — *вторая*.

Творческая мысль есть особый синтез многообразия в единстве. Вот почему в деятельности *внимания* у гениального изобретателя сочетаются две *полярно противоположные черты*: 1) *Концентрация*. Самоуглубление до забвения всего окружающего,—черта характерная для научного и философского творчества, начиная от Фалеса, упавшего в яму при наблюдении звезд, и Сократа, простаивавшего сутки на одном месте, поглощенного философскими размышлениями, и кончая Пуэнкарэ.

Вот иллюстрация этого положения. Боткин пишет: „Не говоря о том, что я гибель прочитал, я еще сделал целую работу... Я взялся за лягушек и, сидя за ними, открыл новый кураре в лице серно-кислого атропина, надо было проделать с ним все опыты, какие были сделаны с кураре. Новизна приемов работы (по этому отделу я еще не работал), удачные результаты и поучительность самой работы до того увлекали меня, что я просиживал с лягушками с утра до ночи, просиживал бы и больше, если бы жена не выгоняла меня из кабинета, выведенная, наконец, из терпения долгими припадками моего, как она говорит, помешательства... До такой степени меня охватывает какая-нибудь работа, ты не можешь себе вообразить, я решительно умираю тогда для жизни, куда ни иду, что ни делаю,—перед глазами все торчат лягушки с перерезанными нервами или перевязанной артерией. Все время, что я был под чарами серно-кислого атропина, я даже не играл на виолончели, которая теперь стоит заброшенной в уголке".

В философском, как и в научном творчестве, мы видим не-

редко постановку проблемы и ее „депроблематизацию“ отделенными друг от друга промежутком в 10—15 лет. Начальная идея „Критики“ зародилась у Канта в 1769 г., а сочинение появилось в свет в 1781 г. За весь этот промежуток и в течение шести месяцев лихорадочного сочинительства, поле сознания Канта, разумеется, прерывно, но неуклонно включало в себя и освещало фокусом внимания все, что могло иметь отношение к решению проблемы.

Подобным же образом творили Конт, Спенсер и М. И. Каринский. „Курс позитивной философии“ был задуман в двадцатых годах XIX века и выполнялся по строго заранее продуманному плану в течение двадцати лет. „Синтетическая философия“ Спенсера была предпринята в 1858 г., а закончена лишь в 1894. О Каринском его биограф проф. Э. Л. Радлов пишет: „Единая мысль и одна задача руководила им в течение всей его сознательной жизни. Задача, поставленная в его юношеском труде: „Обзор германской философии“, последовательно и глубоко решена в трех капитальных трудах, а именно: в „Классификации выводов“ (1880), в сочинении „Об истинах самоочевидных“ (1893) и в „Разногласие в школе нового эмпиризма по вопросу об истинах самоочевидных“ (1915). (См. „Некролог: М. И. Каринский, „Журнал Министерства Нар. Просв., 1917). В этом процессе *постановки* философской проблемы, ее *интеллектуальном разрешении и техническом осуществлении* нужно, как справедливо замечает проф. Энгельмейер по поводу технических открытий, — указать три момента, образующие вместе то, что он называет *трехактом*. У Канта проблема зародилась в 1769 г., ее *решение* назревало двенадцать лет, а техническое осуществление потребовало *шесть месяцев*. (См. книгу Энгельмейера: „Теория творчества“, с предисловием проф. Д. Н. Овсянико-Куликовского, 1910).

2) Но, наряду с концентрацией, у творческих гениев надо отметить и *прерывность*. Это замечает, например, у Пуэнкарэ д-р Тулуз. Ведь, изобретатель развивает в своей духовной лаборатории целый ряд диспаратных аггрегатов идей, скажем, *A, B, C, D, E, и a, в c, д, e*, внимание его может перебегать в работе от одной организованной группы идей к другой, в этом и заключается способность *двойного тока мыслей*, замечаемая у изобретателей то, что Б. Эрдманн называет *Nebendenken*, а Сурио—*pensée à côté*. Полная неустойчивость внимания характерна для дебиликов, но там речь идет о беспорядочной неустойчивости, а здесь, так сказать, о системе *подвижного равновесия* между аггрегатами идей. Равным образом, концентрания внимания у гения не то, что *моноидеизм* сума-

шедших. Соотношение двух рядов мыслей у гения можно, согласно д-ру Тулузу, графически выразить, как посменный переход к звеньям двух упорядоченных рядов представлений:



Соотношение же колебаний внимания у дебилика можно выразить в виде беспорядочного хаотического метания из стороны в сторону, где фокус внимания случайно перемещается с одного неустойчивого образа на другой (см. Toulouse: „Poincaré“).

Интересное замечание Порфирия из его биографии Плотина приводит Вашро. „Разговаривая с нами, он мог одновременно удовлетворять своей потребности вести беседу и продолжать без перерыва свои размышления по вопросу, который занимал его; таким образом. он жил зараз с самим собою и с нами. Он никогда не отдыхал от (работы) внутреннего внимания; эта последняя едва только перерывалась на время сна, который часто нарушался вследствие недостаточного питания (так как иногда он не ел даже хлеба), и вследствие непрестанного сосредоточения своего духа“. (Vacherot: „Histoire de l'école d'Alexandrie“, v. I).

XLVII.

Творческие догадки привходят, как в синтетический силлогизм, так и в процесс *индукции*. Методы индукции, подобно силлогизму, не суть мертвые механические схемы, шаблоны, которыми в качестве „логики открытий“ может воспользоваться всякий дурак. Наведение может получиться, как путем *непрерывного* процесса накопления фактов, регистрирования повторяющихся единообразий: сосуществования, причинной и функциональной взаимозависимости, так и *прерывным* путем неожиданных сопоставлений и внезапных догадок. *Оба* эти момента в процессе наведения *тесно сплетены* между собою. Главных метода индукции, по моему, три:

I. Метод *совпадения*, в котором от постоянного сосуществования A и B или следования явления B за явлением A мы заключаем к законосообразной или причинной связи между ними; это может быть выражено в условном суждении modus ponens.

Если A и B постоянно сосуществуют или следуют друг за другом при смене других предшествующих B или сосуществующих с

ним условий, то A связано с B законосообразной или причинной связью. Но A и B связаны друг с другом именно таким образом. Следовательно, между ними существует законосообразная или причинная связь. Метод совпадения есть наведение от *бытия* одного фактора к *бытию* другого,—он соответствует категории *реальности*.

II. Метод *различия*, в котором констатируется, что при постоянстве или смене других факторов, предшествующих B, он не исчезает, но исчезает всякий раз, как исчезает A, что может быть выражено в условном суждении *modus tollens*.

Если какие-нибудь факторы, предшествующие B, являются безразличными для его возникновения, то своим присутствием или исчезновением они не оказывают на присутствие B никакого заметного влияния.

Исчезновение фактора A влечет за собою неизменно исчезновение и B. Следовательно, A не является безразличным фактором для возникновения B (иначе говоря, составляет его причину или законосообразно с ним связано).

Это наведение по методу *различия* от *небытия* одного фактора к *небытию* другого опирается на категорию *отрицания*.

III. Метод *остатков* заключается в том, что в сложном явлении P, состоящем из K, L и M, мы уже установили зависимость K от предшествующего условия A, L—от предшествующего условия B и определяем причину $M = X$ вычитанием $(K + L)$ из всего комплекса ближайших известных нам предшествующих P условий,—скажем, O, отсюда $X = O - (K + L)$.

Метод остатков обыкновенно формулируется так, как будто X уже было найдено, тогда весь процесс сводится к арифметической операции вычитания $A + B$ из $A + B + C$. В таком случае метод остатков не представлял бы никакой своеобразной операции мысли, а сливался бы с методом различия и совпадения. Между тем обычное понимание этого метода выражает собою тот момент творческой работы мысли, когда результат *уже получен*. Но пока X не найден, он входит в бесконечную множественность условий в мире, предшествующих K, L и M (вместе с известными нам $A + B$); он составляет *неведомую частицу в необъятном* ἄπειρον мирового прошлого. Поэтому метод остатков может всего лучше быть выражен в форме условно-разделительного суждения.

Если комплексу явлений K, L, M предшествует комплекс ABX, то причиною M может быть или A, или B, или X. Но A есть причина K, а B—причина L. Следовательно, причина M *есть не* A *и не* B, т. е. ее надо искать в X.

Мы имеем здесь в выводе *бесконечное* суждение, прежде чем будет установлено X. Метод остатков соответствует категории *ограничения* и, как мы увидим, особенно часто содействует устранению *исключений, аномалий,* раз'ясняет *переходные* формы между двумя классами явлений, устраняет их кажущуюся резкую *прерывность.* Метод *сопутствующих изменений* не есть самостоятельный метод, но простое *уточнение* этих методов, определение точной *количественной взаимозависимости* причин и действий.

Ученый исследователь приступает к наблюдению или экспериментации не с tabula rasa в голове, его мозг подготовлен к своеобразному восприятию внешних раздражений путем многолетней установки (Einstellung), его дух обогащен множеством знаний в организованной форме; он обладает в высшей степени в сфере своей специальности тем, что Мах называет *изощренностью внимания;* воспринимаемым явлениям он придает сложное истолкование, дополняя непрестанно наблюдения и эксперименты мысленными экспериментами—комбинированием фактов и идей в воображении. Поэтому его проницательность и догадливость проявляется в процессе индукции в троякой форме: 1) В виде *чуткости к деталям внутри* поля наблюдения, к *подробностям,* которые могут иметь *решающее* значение в постановке наблюдений и экспериментов, но которые ускользают от внимания других исследователей или вследствие недостаточной подготовленности, или вследствие недостаточного дара наблюдательности, или вследствие *ослепления предвзятой теорией.* Это мы уже видели в приведенных примерах на Ломоносове и Пастере. Ломоносов обратил внимание на *роль воздуха* в увеличении веса окалины, Пастера поразили *лишние „площадки“.* Эта чуткость к многозначительным деталям внутри поля непосредственного наблюдения особенно часто имеет место в методе совпадения и различия.

2) В виде *широты* комбинационного поля творческого воображения, когда ученый сближает между собою весьма *диспаратные,* обособленные друг от друга сферы явлений. Это особенно часто наблюдается при применении метода сопутствующих изменений. Джевонс приводит интересный пример установки закономерной связи между солнечными пятнами и зарницами: „Трудно было бы представить себе более бессвязные явления, чем солнечные пятна и зарницы. Уже в 1826 г. Швабе стал производить систематический ряд наблюдений над солнечными пятнами, каковые наблюдения продолжались до настоящего времени; ему удалось показать, что периодически, примерно через одиннадцать лет, пятна увеличиваются значительно и числом, и размерами. Едва это открытие было сделано, Ламон

(Lamont) установил приблизительно такой же период вариации для уклонения магнитной иглы. Вслед за тем было показано, что магнитные бури или пертурбации в движениях магнитной иглы особенно часто имеют место во время усиления солнечных пятен, а так как зарницы обыкновенно совпадают со временем магнитных бурь, то и это явление было включено в тот же цикл. С тех пор проф. Пиацци, Смит и м-р Стоун показали при помощи зарытых в землю термометров, что и в изменениях температуры поверхности земли наблюдается тот же период". (См. St. Jevons: „Principles of Science", 1879, p. 452).

3) В способности, благодаря *живости воображения и проницательности мысли*, выходить за пределы непосредственного поля наблюдения и заглядывать в соседнюю *запредельную* область явлений, где может в скрытой форме находиться *остаточный* искомый фактор, являющийся причиной данного явления. Мир опыта не есть шашечная доска, где причины и следствия расположены по соседству в соответствующих квадратиках, но *сплошной поток* многообразных процессов, где, наряду с известными нам факторами, имеются налицо и *менее известные и совершенно неведомые* (новые элементы, новые силы). Гершель впервые обратил внимание на то, что раскрытию этих *запредельных* факторов особенно содействует *метод остатков*. Целый ряд замечательных открытий в *астрономии* получен именно при помощи этого метода. Так, запоздание кометы Энке дало повод предположить влияние на ее движение противодействующей среды, рассеянной в пространстве. В *физике* наблюдение Араго, согласно которому магнитная стрелка, приведенная в колебание, скорее приходила в состояние покоя, будучи подвешена над медной доской, привело к открытию магнитного электричества. В *химии* Арведсон открыл *литий*, заменив *избыток веса* в сульфате, полученном из небольшой дозы того, что он рассматривал при анализе известного минерала в качестве магнезии. (См.: A. Bain: „Logic" v. II).

В *биологии* точно также метод остатков находит себе широкое применение в процессе открытий и в общей теории развития, и в эмбриологии, и в диагностике болезней. Так, например, *прерывность* видов являлась фактом, как бы перечащим принципу непрерывной изменяемости животных и растительных форм, и дарвинисты подыскивали для этой аномалии добавочные об'яснения. Таковые усматривались ими, между прочим, в *расхождении признаков* (divergence of characters). Позднее биологи, признавая невозможным допускать вообще непрерывность развития этих форм, оставаясь на почве учения о естественном отборе, выдвинули понятие мутации (де-Фриз),

батмической эволюции (Пирсон) предположением внезапной скачковой или взрывчатой метаморфозы видов. Из области гипотез и догадок этот вопрос был перенесен на более прочную почву путем введения эксперимента. Аномалии развития: *maxima* и *minima* размера (вроде Тома Пуса в 54 сант. вышиной и *Каяну* ростом в 2,83 метра), близнецы, гермафродиты и всевозможные уродства, первоначально казавшиеся исключениями из общих законов эмбриологического развития, стали рассматриваться, как результат тех же законов, так как были приняты во внимание *остаточные* факторы в виде атавизма, действия определенных механических и иных влияний на зародыш в утробной жизни, особенностей в процессе оплодотворения и т. д. Так, напр., влияния механических условий, при образовании уродств, стали очевидными уже из показаний статистики: по словам В. М. Островского, у незаконорожденных детей ненормальные уклонения встречаются гораздо чаще, чем у законных. Вероятно, здесь играет роль, кроме полунамеренной неосторожности матери при плодоношении, ее желание скрыть свое состояние при помощи стягивания, а равно и неудавшиеся попытки удаления плода. (Статья „Уродства", словарь Брокгауза и Ефрона). Опять таки, применение научной экспериментации дает возможность и здесь сделать вполне определенными неясные остаточные факторы, обусловливающие уродство. В таких случаях открывается возможность перейти от метода остатков к методу сопутствующих изменений, дающему более прочные и ясные результаты.

В *языкознании* языковые уклонения,—то, что проф. Бодуэн-де-Куртене называет „патологией" слова, кажущиеся исключениями из общих законов развития языков, оказываются сводимыми к тем же законам, если при их образовании приняты во внимание различные особенности в структуре органов речи, органов слуха, в их иннервации и в центрально-мозговых особенностях изучаемых племен и народов. И здесь опять-таки эти *остаточные* явления находят себе полное об'яснение, благодаря успешному применению данных экспериментальной фонетики. (См. ст. „Язык и языки", проф. И. А. Бодуэн-де-Куртене, словарь Брокгауза и Ефрона, т. 81-й).

Льюис указывает, что и в *политической экономии и законодательстве* находит подобное же успешное применение метод остатков: „Непредвиденные результаты в законодательстве или полезные усовершенствования в искусствах нередко могут быть открыты при помощи метода остатков. Так, напр., сравнивая статистические отчеты или другие систематически зарегистрированные данные из года в год, мы замечаем за известный период перемену обстоятельств, необ'яс-

нимую из обычного хода событий, но такую, для которой должно же быть причинное об'яснение. Для этого остаточного явления мы не имеем об'яснения, пока не находим его в случайном соучастии какой-нибудь побочной причины. Так, напр., сравнивая отчеты о количестве проданного живого скота на рынке в Смитфильде за несколько истекших лет, мы обнаруживаем, что количество проданного рогатого скота значительно возросло, между тем как количество проданных овец оставалось приблизительно таким же. Нужно предположить, что потребление говядины в Лондоне возрастает соответственно росту населения в городе; с другой стороны, нет основания предполагать, что потребление говядины должно возрастать быстрее потребления баранины. Таким образом, в факте стационарного состояния в потреблении баранины мы имеем *остаточное* явление, для которого надо подыскать причину. Эта причина заключается в значительном подвозе в столицу, благодаря пароходам и железным дорогам, убойной баранины и в большем удобстве пересылки в разрезанном виде убойной баранины, нежели говядины".

В *истории* анализ влияния крупной личности, властно воздействующей своей идеей на коллектив, точно также дает повод к применению метода остатков. Очень метко следующее замечание проф. Бицилли в его интересной работе „Салимбене" (очерки итальянской жизни XVII века, 1917 г.): „Идея (которою удалось всколыхнуть мир) играет здесь роль пробудителя и *проявителя*; она делает заметным для историка то *темное* и *неосознанное*, что до сих пор пряталось от его глаз в глубине души общественного коллектива. Он находит это *искомое* в тех искаженных образах, которые получаются у современников от поразившей и потрясшей их идеи", (см. стр. 11). Как иногда изучение аномалий, как мы видели, облегчается сопоставлением их со средней нормой, так и, наоборот, некоторые неясные черты в среднем человеке эпохи выявляются из сопоставления с яркими проявлениями какой-нибудь идеи в душе „властителя дум", идеи, которая в ослабленных и многообразно измененных формах отразилась в сознании современного общества.

Методическое *непрерывное* исследование, сопряженное с точным измерением изучаемых факторов в индуктивном исследовании, теснейшим образом сплетается с *прерывными* моментами счастливой догадки. Так, мы видели, что при исследовании связи между периодическими явлениями на солнце и на земле непрерывная точная регистрация факторов сочеталась с счастливым внезапным сопоставлением. При помощи *метода кривых*, когда сравниваемые явления удачно сопоставлены, графическое изображение количественной связи

двух или нескольких явлений может приблизить к наглядной *графической конструкции* искомого закона. Это, как указывает Уэвель и Джевонс, мы наблюдаем, напр., в процессе определения орбиты двойных звезд в исследованиях Джона Гершеля.

XLVIII.

Возможна ли интуитивная индукция от одного случая? Мистицизм и эмпиризм дают на этот вопрос утвердительный ответ. Любопытно, что панлогист Гегель, заодно с эволюционистом Спенсером, признает возможность подобного иррационального *скачка* в мышлении. Вот пример Гегеля: „Я просыпаюсь и слышу, что на улице скрипят полозья саней, откуда заключаю, что ночью был мороз". На самом деле здесь, разумеется, нет никакой интуитивной индукции. Звуки скрипа полозьев, т. е. ощущение *A* здесь может вызвать представление о сильном холоде, т. е. другое единичное представление *B*, которое следует за первым по привычной ассоциации представлений, а последнее единичное представление *B*, опять же в силу ассоциации образа с нечувственной мыслью *C*, вызывает последнюю: холодно бывает при сильном морозе. Таким образом, здесь нет никакого *акта мысли*, кроме последней мысли, что ночью был мороз. Бенно Эрдманн хорошо поясняет мысль, что индукции на основании единичного случая *не может быть*,—всякая индукция исходит из „множественности предпосылок". „Если мне дан один экземпляр растения Papaver somniferum (мак), и я вижу, что у него более двадцати тычинок на цветочном ложе, то я не могу сделать отсюда ровно никакого вывода, если не располагаю никакими сведениями по ботанике вообще и в частности об этом растении; о типичности указанных свойств я могу судить лишь на основании сравнения с другими экземплярами и других побочных соображений". (См. „Logik", B. I., отдел об индукции).

Замечательно, что, как указывает Бозанкет („Основание логики", 1914, стр. 105—106), эту мысль необыкновенно ясно выразил уже Аристотель: „Нельзя получить знания при помощи чувственного восприятия, так как, даже если существует чувственное восприятие известного качества, тем не менее мы необходимо чувственно воспринимаем *это, здесь* и *теперь*. Общее и то, что простирается на все, невозможно чувственно воспринять, оно не *это* и не *здесь*, иначе оно не было бы общим, так как мы называем общим то, что есть *всегда* и *везде*". (An. post.; 87, B, 28). Главным отличительным признаком индукции является: 1) Лежащая на основе ее априорная

предпосылка *единообразия природы*. Без этой предпосылки индукция невозможна. 2) *Вероятностный* характер вывода. Все выводы, как от частного к общему, так и от общего к частному, поскольку они не заключают в себе этих двух презумций, правильнее не называть индукцией (включая сюда и так наз. математическую индукцию от n'-ного случая к n—1-му. См. проф. А. И. Введенский: „Логика, как часть теории познания"). Индукция может быть, кроме того, как справедливо указывает Б. Эрдманн, двух родов: индукция *об'ема* и индукция *содержания*. Вот его пример *первой*:

Гексагональный апатит есть кристалл двойного преломления.

Гексагональный хлоралкальций есть кристалл двойного преломления.

Гексагональный меловой шпат есть кристалл двойного преломления.

Гексагональный турмалин есть кристалл двойного преломления.

Все гексагональные кристаллы суть кристаллы двойного преломления.

Вот его пример *второго* рода индукции.

Это тело имеет серебряную блестящую окраску магнезии.

Это тело имеет тягучесть (Dehnbarkeit) магнезии.

Это тело имеет удельный вес магнезии.

Это тело при накаливании издает ослепительно белый свет магнезии..

Это тело—магнезия.

Всякая научная индукция опирается на прочно установленные ранее принципы науки, а не строится на пустом месте. Она входит, как ингредиент, *в систему* научных понятий, теснейшим образом сплетаясь с процессами дедуктивными, *с определением понятий и классификацией*. Равным образом, деление, классификация не есть простое образование видов от известного рода путем *обогащения* содержания, так что род является просто наиболее тощим, хотя и заключающим в себе виды понятием, но мысль наша руководится постоянным соотношением рода к видам, основанным на стремлении открыть *закон спецификации* понятий из данного рода. „Значение родового имени вовсе не теряет свойств, которыми обладает вид. Еслибы это было так, то оно теряло бы все свои свойства". „Родовая идея здесь воспроизводит *общий план*, по которому строятся виды, но сохраняет для каждой части то, что конституирует целое, меняясь в специфических случаях в определенных пределах. Так, в Лютиковых, Ranunculaceae, некоторые виды не имеют лепестков. Но мы не теряем признака лепестка в родовой идее. Мы устанавли-

ваем общий план, поскольку дело касается этого элемента: „Лепестков пять или больше, изредка вовсе нет". (Бозанкет: „Основание Логики", 1914, стр. 101). Подобным же образом, как указывает Кассирер, понятие конического сечения включает в себя виды — круг, параболу, гиперболу и эллипсис, указуя на общий *закон их образования*. (См. „Познание и действительность", I-я глава). В сложном индуктивном исследовании тесно сплетены индукция об'ема, индукция содержания и классификация,—все направлено к раскрытию общего закона и связи его с различными специфическими формами бытия, им определяемыми. Поясню это описанием метода исследования Пирсона в биологии.

Размышляя над вопросом о причинах изменения организмов в процессе эволюции, т. е. о вопросе, в который входит *индукция об'ема*, и желая показать, каким образом видовые различия сводятся к общим свойствам родов, Пирсон намечает четыре формы влияний, которые могли вызвать подобные изменения: 1) Изменение, вызванное тенденциями, присущими индивидууму, или *батмическое* влияние. 2) Изменение, вызванное другими индивидуумами того же самого жизненного типа или *автогенерическое влияние*. 3) Изменение, вызванное другими жизненными типами или *гетерогенерическое* влияние. 4) Изменение, вызванное физической средой. Односторонний путь обобщающей индукции, стремящейся даже эти факторы свести к механическому единству, является здесь недостаточным, „пока мы не ознакомимся лучше с *жизненными единицами* и законами их реакций". (Пирсон: „Грамматика Науки", 441—445). Для этой цели служит индукция *содержания*, путем которой устанавливаются особенности *типа индивидуального* растения или животного, затем типа *расового* и, наконец, *корреляция*.

1) Для *данного* дерева можно вывести среднюю норму числа жилок на его листьях. 2) То же можно сделать и относительно данной *породы* и получить среднее число жилок, встречающихся на деревьях данной породы. Подобное исследование можно произвести по отношению ко всем важнейшим признакам данного дерева или данной породы. Но можно не ограничиваться рассмотрением типа и колебания вокруг типа (в виде уклонения) с точки зрения одного признака. Как известно, расовая изменчивость бо́льшая, чем индивидуальная, и сходство соответственных органов того же индивидума большее, чем в пределах типа. Это приводит нас к установке *принципа корреляции*: „Если я сорвал *два листа* какого-нибудь бука, причем один из них, как оказалось, имеет 18 жилок, то каково наи-

более вероятное число жилок на другом листе?“ Искомое число будет ближе к 18, чем еслибы листок был взят с другого дерева.

Подобная же корреляция различных органов может быть установлена и для расового типа. Таким путем можно было получить *таблицу коэффициентов* корреляции у человека, где указаны размеры бедра и большой берцовой кости, бедра и плечевой кости, ключевой и лучевой кости, плечевой и локтевой кости, длины и ширины черепа, силы и роста, силы и веса и т. д. Установка корреляции есть обогащение и уточнение *содержания* понятия индивидуального или расового типа. Это как бы метод сопутствующих изменений, примененный к *сосуществованию признаков* в типе, а не к параллелизму перемен в каком-нибудь процессе. Несомненно, в *творческом процессе ученого* ряды *индукций об'ема и содержания* непрестанно *сопоставляются*, и прочность обобщения оказывается тесно связанной с глубиной, достигнутой в научной конструкции понятия индивидуального или расового типа. Оба рода индуктивного процесса выигрывают много от своей точности, что дает возможность внести в биологию числовые выражения, как для установки корреляции признаков в научном понятии типа, так и в законах, открываемых обобщающим наведением. Примером последнего может служить закон Менделя и вообще количественные законы наследственности.

XLIX.

Во всех учебниках логики уделяется внимание так называемым *заключениям по аналогии*. Я считаю нужным остановиться на этом вопросе, обыкновенно рассматриваемом вскользь, в виду того, что понятие *аналогии* расплывчато и занимает какую-то *двусмысленную* роль между областью психологии и логики. Слово ἀναλογία равносильно первоначально по значению слову proportio и обозначает установку равенства двух *количественных* отношений. Образчиком такой установки может служить следующее место в „Государстве“ *Платона*: „Мы приписываем справедливость одному человеку, но ее, вероятно, можно приписывать и целому обществу. Уж, конечно, — сказал он.—А общество не больше ли одного человека?—Больше,— отвечал он.—В большем же может быть больше и справедливости, следовательно, легче и изучить ее. Так, если хотите, сперва исследуем, что и какова она в обществе, а потом рассмотрим ее и в неделимом, ибо идея меньшего, есть *подобие* большего“ („Πολιτεία“, 368, B и 369). Однако, в этом примере Платона имеется и зачаток аналогии качественной—подобие или *изоморфизм качественных от-*

ношений, ведь, на такой аналогии у Платона построена вся его органическая теория общества, уподобляющая общество большому человеку. *Аристотель* слово ἀναλογία употребляет исключительно в смысле пропорции, а для изоморфизма качественных отношений применяет термин ἀνάλογον, и тоже мы встречаем позднее вплоть до Вольфа и Канта. Так оба они говорят об уме животных, *аналоге* человеческого разума (*analogon* rationis).

В Псевдо-Галеновском трактате заключение ἀνὰ λογον вместе с выводами о равенстве и пропорциональности относятся к *выводам отношений* (πρὸς τι) (об них см. мою работу „Логика отношений и силлогизм" 1917). С одной стороны здесь приводится вышеприведенный пример из Платона, с другой—выводы такого типа: α относится к β, как γ относится к δ, но α вдвое больше β, следовательно, и γ вдвое больше δ.

Достоверность подобных выводов почерпается из некоторого общего положения (см. Γαλήνου Εἰσαγογὴ Διαλεκτικὴ, XVIII, 1—8). Наконец, в „Геркуланских исследованиях" Гомперца приводятся рассуждения Эпикура о выводах по аналогии от известного к неизвестному. См. Eisler: философский словарь, 2-е издание слово, „Analogie".

Кант в новое время впервые отчетливо разграничил индукцию от заключения по аналогии в такой формуле: *„Нечто во многом, следовательно, во всем,*—это *индукция, в одном есть многое, что есть в другом, следовательно, в нем есть и остальное—аналогия"*. Но, подобно Аристотелю, он не признает за *неполной* индукцией и аналогией прав на строгую логическую доказательность. (См. „Логика", пер. прив. доц. Щербины, 1915 г., стр. 124—125).

В новой школе эмпиризма, начиная с Юма и кончая Файингером, заключение по аналогии в смысле вывода от единичного к единичному приобретает не только значение правомочного вывода, но оказывается *основной операцией мышления*. На аналогии строится образование понятий, суждений, умозаключений и гипотез.

„Все наше рассуждение,—пишет Юм,—основывается на известном роде *аналогии*, которое ведет нас к *ожиданию*, что известное явление будет вызвано известной причиной, если подобныя причины вызывали ранее такое же явление". (Treatise, абзац 82-й). По следам Юма, Милля и Спенсера в новейшем эмпиризме Файингер расширил понятие аналогии до размеров *универсального логического принципа*. Согласно его учению, развитому им в обширном труде: „Philosophie des „Als Ob", единственно реальной данностью для нашего сознания являются простейшие ощущения—все остальные элементы по-

знания: понятия, суждения, выводы суть лишь совокупность искусственных фикций, имеющих чисто *„инструментальное“* значение. Любое понятие есть лишь *метафора*, въ основе которой лежит чувственная *аналогия*—мы мыслим и говорим лишь метафорами. Самые основные функции разсудка—*категории*—суть лишь эвристические фикции и „первоначально в нашей психике имелась более богатая, чем теперь, таблица категорий, и современная таблица категорий есть продукт естественного отбора и приспособления“. („Philosophie des Als Ob“, 313). Силлогизм есть лишь *заключение по аналогии*. Подобно Спенсеру, Файингер толкует вывод:

Все люди смертны
Сократ—человек
Сократ смертен,

как оперирование над *четырьмя представлениями*, ибо *„человека“* в меньшей посылке надо понимать лишь как нечто *аналогичное людям*, упомянутым в большей посылке.

Подобный взгляд на аналогию необходим для всякого сторонника эмпиризма. Πρῶτον ψεῦδος подобной точки зрения заключается в двух положениях: 1) В так называемом *мышлении* не существует никакого *нечувственного* интеллектуального *момента*. 2) Чистые единичные ощущения и их воспроизведения представляют единственный материал для мышления. *Суррогатами* общих представлений являются *родовые образы*, схемы и другие *чувственные аналоги понятий*. Первое из указанных положений разрушается *ложностью* второго. Файингер утверждает, что единственной реальностью для сознания являются *чистыя ощущения*, все же остальное в нашем познавательном механизме — система фикций, но *это-то и неверно*. *Чистыя ощущения*, в которых нет элементов отождествления, различения и сравнения, (хотя бы в смутной форме), *не существуют в природе* — представляют такую же логическую фикцию, как *чистый разум* или *чистая*, отделенная от единичных представлений и ощущений *мысль*. (См. „Законы мышления“ etc., I-я глава). А если и *чистые ощущения* суть только фикции, тогда по Файингеру выходит, что *все на свете есть фикция*. Еслиже все на свете есть фикция, то, значит, *нет и фикции*, ибо понятие фикции мыслимо лишь в соотношении *с чем-нибудь, что не есть фикция*. Для занимающего нас вопроса о значении в философском творчестве *заключения по аналогии* важно установить, что то пресловутое *заключение*, о котором говорят эмпиристы, *вовсе не есть логический процесс*, т. е. *акт мысли*. Под заключением по аналогии надо

понимать что-нибудь из двух. 1) Или то, что разумел под ним Кант, и *что сходно с описанною нами выше* (стр. 189-я) *индукцией содержания*, в которой для логической правильности вывода всегда должна подразумеваться большая посылка в виде закона причинности или принципа единообразия природы; 2) Или же „заключение" по аналогии есть простой *ассоциативный комплекс из 4 представлений*, который я назвал бы *ассоциативным аналогом*. Пример: когда я отпираю дверь моей комнаты, я *антиципирую картину ея обстановки*. Здесь между процессом отпирания двери и образом обстановки образовалась ассоциация: воспоминание о прежнем отпирании — воспоминание о прежде виденной обстановке комнаты—теперешнее отпирание двери и антиципация знакомой обстановки. Здесь нет никакого умозаключения, равным образом его, разумеется, нет и в тех случаях, где мы имеем дело не со сходными предметами или образами, но лишь со сходством отношений. Гоппе в небольшой, но содержательной работе („Die Analogie, ein Versuch auf der Gebiete der Logik" 1870) весьма убедительно доказывает эту мысль.

Ассоциативный аналог *не есть процесс мышления*, но *чувственная база* для такого процесса. Следует говорить не о заключении по аналогии, а о *чувстве аналогии*, которое и есть то, что мы называли смутною *догадкою*, интуицией и т. п. Оно в этом смысле источником величайших открытий и величайших заблуждений человеческой мысли. Оно лежит в основе всякой *гипотезы*.

Вопросу о *значении аналогии в философском творчестве* посвящена интересная статья Гёффдинга: („Analogy, its philosophical importance", Mind, 1905). Он показывает в ней, что попытки философов постигнут мир, как целое, истинно сущее, сводились нередко к *переносу* на космос, как *целое*, свойств одной какой-нибудь его *части* по аналогии. И, действительно, прибавлю я, для материалиста мир является *сверхмеханизмом*, для гилозоиста—*сверхорганизмом*, для монистического идеалиста (вроде Фихте)—*сверхдухом*, для плюралистического идеалиста—вроде Лейбница—*сверхобществом*. Широко пользуются мнимым заключением по аналогии представители *мистицизма*, о чем я буду подробно говорить в главе о „Творческом Эросе", а теперь поясню *ложное* применение аналогии на одном разсуждении Плотина. Плотин был *едвали не первым философом древности, который поставил проблему „чужого я" или множественности сознаний*. Как примирить *единство мировой души со множественностью эмпирических личностей*? Отчего мы все *не сливаемся в единое сознание* в мировой душе? Чтобы ответить на такой вопрос, чтобы дать *объяснение* совместимости многого с единым, Плотин пользуется исключи-

тельно *ассоциативными аналогами*. То он уподобляет мировую душу *источнику света*, из которого излучается множественность лучей, то огромному *китообразному существу*. Подобно тому, как такое существо может не чувствовать раздражения отдельной своей части, так и мировая душа не сознает переживаний индивидуального человеческого сознания. Или он уподобляет мировую душу *огромному дереву* (ἐμφύτῳ μεγάλῳ), которое не сознает психической жизни зародившихся в нем мелких паразитов (см. об этом превосходную книгу Вашро: Vacherot: „Histoire de l'ecole d'Alexandrie" 1846, pp. 435—442, гл. I). Подобная подмена логического процесса игрою ассоциативными аналогами еще ярче выступает у Прокла, который *моменты диалектического процесса мысли* сближает с *образами древней мифологии*. На смену *таблицы онтологических категорий* здесь выступает Пантеон богов, и, таким образом, происходит *деградация философской мысли в мифологическую форму*. О проявлении подобной наклонности у немцев Грилльпарцер говорит в одном стихотворении следующее:

Der Pedantismus und die Phantasie,
Vergingen sich, ich weiss nicht wie,
Und zeugten Mischlingskinder die,
Als Pflanzer sie nach Deutschland sandten,
Die sonst im Weltall unbekannten:
Phantastischen Pedanten *).

*) „Педантизм и Фантазия согрешив, уж не знаю как, породили ублюдков и послали их в Германию в качестве еще неведомых миру растений: фантастических педантов".

Оглавление первого тома.

Римскими цифрами обозначены подразделения глав. арабскими—страницы.

Предисловие, 4—6.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. **Введение.** (7—42). I. Отличие философского изобретения от религиозного (7—10), II. художественного и специально-научного (10—11). III. Теория среды и теория наследственности (11—13). IV. Роль наследственности (13—16). V—VI. Философское творчество и душевные болезни (16—20). VII. Значение географических и экономических условий в философском изобретении (22—25). VIII. Значение школы (25—26). IX. Круг чтения (26—30). X. Роль национальности и общего культурного уровня эпохи. Одновременность научных открытий. Таблица Мантре (30—34). XI. Прерывный и непрерывный моменты в процессе изобретения (34—36). XII. Открытие и изобретение. Приспособляемость, находчивость и изобретательность. Как понимать природу философского изобретения (36—42).

ГЛАВА ВТОРАЯ. **Пробуждение призвания** (42—60). XIII. Идиосинкрация интереса. Гений в науке, как ingenium praecox. Пробуждение философского интереса а) на религиозной почве (42—47). XIV. б) на психологической почве, в) на естественно-исторической, г) на математической (47—52). XV. д) на исторической, е) политической и ж) эстетической. Таблица многообразия интересов у философов (52—56). XVI. Изобретательность у детей. Общие выводы (57—60).

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. **Кризис сомнений.** (60—88). XVII. Сомневающийся и скептик (60—63). XVIII. Психические особенности скептика (63—67). XIX. Скептицизм в истории философии (67—71). XX. Монтень. Паскаль. Юм. Ницше. Ренан (71—78). XXI. Кризис сомнений у нескептиков (78—85). XXII. Значение скепсиса для философского творчества (85—88).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. **Творческая память** (88—109). XXIII. Память и оригинальность (88—94). XXIV. Память у философов (94—97). XXV. Память и интеллигентность (94—105). XXVI. Болезни памяти и философское изобретение (105—109).

ГЛАВА ПЯТАЯ. **Творческое воображение** (109—166). XXVII. Главные особенности творческого воображения (109—114). XXIX. Творческая работа во сне и ее научное истолкование (114—121). XXX. Рациональный и иррациональный моменты в деятельности творческого воображения. Особенности творческого воображения у философов (121—124). XXXI. Фантасмы научного воображения (124—129). XXXII. Про-

блема подобных миров (130—133). XXXIII. Исторический фантасм в науке и в искусстве (133—136). XXXIV. Черты сходства и различия в процессе их образования (136—143). XXXV. Образование индивидуально-типического фантасма в истории (143—145). XXXVI. Образование индивидуально-типического фантасма у историков древности, (145—146). XXXVII. Критические приемы проверки у современного историка (147—149). XXXVIII. Процесс перевоплощаемости у историка (149—184). XXXIX. Другие черты, отличающие историка-ученого от историка-художника (154—156). XL. Анализ подделок исторического фантасма (156—159). XLI. Художественное произведение, как ценный исторический документ (159—160). XLII. Односторонние тенденции в построении исторического фантасма (160—165). XLIII. Три тенденции в процессе образования исторического понятия (165—166).

ГЛАВА ШЕСТАЯ. (166—192). Творческая мысль. XLIV. Синтетический вывод (166—174). XLV. Синтетический вывод в философском изобретении (174—176). Закон непрерывности. Активность внимания (176—179). XLVII. Изобретение и индуктивные операции мысли (179—185). XLVIII. Индукция объема и индукция содержания (185—189). XLIX. Заключение по аналогии и чувство аналогии (189—192).

ПОПРАВКА:

На стр. 17, 5-я строка снизу, напечатано: $\delta\varphi$, а следует: δF.